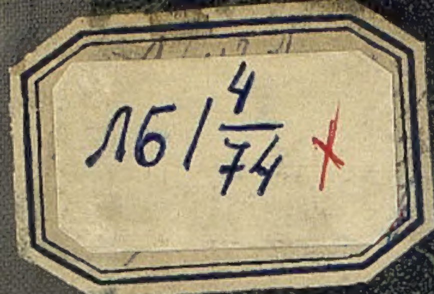

Л6 / 4/74



Мария Павловна
КОВАЛЕВСКАЯ.



Надежда Константиновна
СИГИДА.

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

КАРИЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ

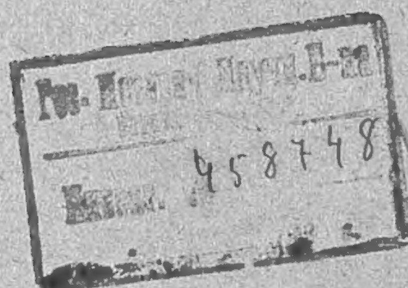
(1889)

ВОСПОМИНАНИЯ и МАТЕРИАЛЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ = 1920

4-я Государственная Типография. Фонтанка, 57.



ОТ РЕДАКЦИИ.

Русские революционеры вели борьбу с русским правительством на всех путях своей тяжкой и скитальческой жизни. Взятые в плен, они продолжали эту борьбу в тюремных застенках, в каторжных тюрьмах, в безотрадных и безлюдных пустынях ссылки. Та борьба, которую русские революционеры вели, находясь в плену, была не только протестом против невыносимых тягот тюрьмы и ссылки, против мучительного издевательства начальства во имя человеческого достоинства: она была продолжением общеполитической борьбы. Так смотрело на дело и русское правительство: в поверженном, связанном по рукам и ногам революционере правительство видело своего политического врага и стремилось к окончательной над ним победе, физической и моральной. Но в этой борьбе против духа протеста и революции были бессильны все средства, бывшие в распоряжении всемогущего правительства. Погибали лучшие из революционеров, умирали от своей руки, умирали на эшафотах, но оставалось то великое целое, во имя которого приносились эти жертвы: идеалы революционного коллектива не несли никакого урона и ущерба.

Одним из самых богатых утратами был 1889 год, приходившийся в одну из самых глухих годин русской революции. В этот год русский революционный и интеллигентный мир, а затем и западный культурный мир, был потрясен известиями о двух трагедиях: одна из них разыгралась в далеком Якутске, другая—в Карийской каторге. Об этих трагедиях надлежит знать и помнить всякому, кому дороги судьбы русской революции.

Настоящая книга посвящена „Карийской трагедии". Она состоит из трех частей. Первая часть содержит воспоминания о женской каторге восьмидесятых годов, написанные специально для нашего издания Елизаветой Николаевной Ковальской. Во второй части мы воспроизводим (из журнала „Былое" 1906, № 6) обстоятельный и трогательный рассказ о карийских происшествиях Г. Ф. Осмоловского, и, наконец, в третьей части даем на основании еще не появлявшихся в печати архивных данных официальные сведения о Карийской трагедии, рисующие отношения высшей власти к этому вопиющему делу.

ЖЕНСКАЯ КАТОРГА.

Из воспоминаний Е. Н. Ковальской.

В июне 1881 года я была приговорена Киевским военным окружным судом к бессрочной каторге по процессу „Южно-русского рабочего союза“. Вместе со мною были приговорены: Щедрин и Преображенский тоже на бессрочную (сначала всем нам трем был вынесен смертный приговор, но, по ходатайству Киевского генерал-губернатора Дрентельна, заменен бессрочной каторгой), Павел Иванов на 20 л., Богомолец и Кашинцев Иван на 10 л., Доллер и Кизер на поселение в Восточную Сибирь, Присецкая без лишения прав на поселение в Западную Сибирь.

После суда мы были все отправлены вместе до Орла; там мужчин отделили и послали в Мценскую тюрьму, а нас, женщин, привезли в Москву, в Бутырскую тюрьму, в которой продержали до осени. Затем, присоединив к нам мужчин нашего процесса и несколько человек, вывезенных из Петропавловской крепости, судившихся по другим процессам: доктора Веймара, Адриана Михайлова, Трощанского, Петропавловского (Каронина), Клеменца, Иванчина-Писарева и др.—отправили всех вместе в Сибирь.

В дороге у нас нередко происходили столкновения с нашим начальством. Вся наша партия (за немногими исключениями) состояла из непокорных, строго стоя на страже своего достоинства.

В Красноярске разразился „бунт“. Причин было несколько. Подъезжали мы к Красноярску полузамерзшие (стояла уже сибирская зима), голодные, измученные длинной дорогой (железной дороги тогда не было), некоторые больные (у меня шла горлом кровь),

В Красноярске, продержав нас предварительно очень долго на улице, встретил нас тюремный инспектор Загарин, потребовавший сейчас же снять с нас нижнее теплое белье; мы отказались в очень резкой форме. Нас ввели в нетопленные камеры, с разбитыми окнами, в которые врывался ветер, нанося снег на нары, пол был покрыт замерзшей грязью. Мест на нарах не хватало для всех, и некоторым пришлось сесть на ледяной пол.

После длительных переговоров, нам оставили наше белье, принесли в грязном ушате грязный кипяток и разместили по нескольким камерам. На этот раз кончилось мирно. Но вскоре Богомолец, вызванная в контору для писания писем, была там оскорблена смотрителем Островским. Долгушину, вывезенному из русской централки вместе со всеми так-называвшимися централистами и оставленному на время по болезни в Красноярске, отказали дать свидание с его маленьким 8-летним сыном, жившим на свободе у его родственников. В тюрьме мы застали рабочего Тихонова, привезенного раньше, совсем больным (вскоре он умер), и лежащего на нарах закованным в кандалы. Мы потребовали немедленного снятия с него кандалов. Нам отказали.

В это время с Кары подвезли заболевшую там нервным расстройством Марию Павловну Ковалевскую, которую препровождали в Минусинскую тюрьму. В Минусинске был на поселении ее муж. Вся партия дружно подняла бунт. Ковалевская также присоединилась к нам. Собравшись в одной большой камере, мы отказались расходиться по камерам, требуя губернатора для объяснений. Приехал вместо него какой-то другой чин (точно не помню), не желавший удовлетворить наши требования: сменить смотрителя, расковать Тихонова, дать свидание Долгушину. Смотритель Островский вошел вместе с ним, вмешиваясь в наши переговоры. Долгушин, вскочив с нар, дал ему пощечину. Чин со смотрителем выбежали из нашей камеры. Нагнали казаков, и нас растащили по камерам. Мы объявили голодовку. Прошло несколько дней: некоторые очень ослабели, Павлу Иванову и мне грозила смерть. Смотритель Островский, зная наше положение и видя, что мы не сдадимся, сам поехал к губернатору просить, чтобы его отстранили от заведывания тюрьмой на время пребывания в ней нашей партии. Губернатор согласился. Нам прислали какого-то другого, с Тихонова были сняты кандалы, Долгушину были разрешены свидания с сыном.

После этого начальство решило отправлять нас дальше на Кару не партией, а по 2 человека.

Меня отправили с Богомолец. Приехав в Иркутск, мы с нею бежали из пересыльной тюрьмы. Через 3 недели были арестованы в городе, посажены в ужасные условия, сопротивлялись, я дала пощечину смотрителю Бернгардту, мне надели наручни, на Богомолец—сумасшедшую рубаху. Щедрин, узнав об этом, дал пощечину адъютанту губернатора Соловьеву. Подробнее обо всем этом я говорю в другой части моих воспоминаний, здесь я только перечислила события до нашего прибытия на Кару, имея целью остановиться исключительно на жизни карийцев.

Раннею весною 1882 года меня и Софью Николаевну Богомолец увозили из Иркутского замка на Кару. Уезжали мы с тяжелым чувством, оставляя Николая Павловича Щедрина под смертным приговором.

Нас посадили в открытые телеги, запряженные тройками, по бокам сели жандармы. На 14 й день нашего путешествия, на станции Шилкинский завод, жандармы нам объявили: „сейчас будем на Каре". Выйдя со станции, мы были удивлены приглашением нас садиться в незапряженные телеги. Сами жандармы тоже стали усаживаться. Ямщики подводили к телегам, видимо, совсем необъезженных лошадей, которые рвались, упирались, вели себя в высшей степени демонстративно. Целая толпа крестьян принимала участие в процессе запрягания. Часть участников отделилась и стала у закрытых ворот. После долгих криков, разнообразной ругани, на которую особенно изобретательны сибиряки, ямщик взобрался на телегу, старший жандарм крикнул: „Реви, паря". Мы уже знали, что это на местном жаргоне значит „кричи, парень". Ворота быстро распахнулись, и мы ураганом понеслись по узкой деревушке, налетели на плетень, прихватили его с собой и с таким хвостом мчались по дороге, пугая встречных проезжающих.

Спустя час мы въезжали в длинную деревню Среднюю Кару. Тройки подвернули к длинному одноэтажному деревянному дому. Взмыленные лошади остановились, старший жандарм оправился и, вынув из обшлага какую-то бумагу, направился к крыльцу. Мы ждали. Вскоре жандарм вернулся, сел в телегу; из окна дома показалась фигура человека в форменном сюртуке, с любопытством оглядывавшего нас.

— Ну, с Богом!—крикнула фигура в форме.

Какой иронией прозвучало напутствие людям, увозимым в каторжную тюрьму!

Минут через десять мы остановились у ворот маленького деревянного домика, обнесенного палями. Старший жандарм

энергично дернул веревку подле калитки, раздался трезвон, и в открытой калитке появилась молодая женщина, имевшая вид провинциальной горничной.

— Принимайте!—обратился к ней жандарм.

— Пожалуйте, проходите!—обратилась она приветливо к нам.

Мы вошли во двор. Я с недоумением оглядывала тюрьму. В маленьком дворике бросались в глаза качели; всматриваюсь, желая понять: что это? Действительно, настоящие качели с доской. Несколько миниатюрных вскопанных гряд, приготовленных для посадки, посреди двора низкий домик с большими окнами без решеток. На крылечко выбежало несколько женщин, одетых в костюмы, искусно скомбинированные, видимо, из обносков „вольного" платья. На некоторых костюмы были украшены даже вышивками и кружевами не первой молодости.

Надзирательница, отворившая нам калитку, куда-то исчезла. Мы стояли выжидательно. Нас осматривали в нерешительности, как к нам отнестись. Лица были незнакомые. В дверях появилась женщина необыкновенно высокого роста; увидев меня, она бросилась ко мне целоваться. Я узнала Наташу Армфельд, с которой встречалась на воле. Нас повели в дом. Пройдя переднюю, мы вошли в просторную светлую комнату, имевшую вид студенческой квартиры, чисто убранной, с фотографиями на стенах, с скатертями на столах. Все производило впечатление домашней обстановки небогатого дома. Здесь мы встретили знакомую по киевскому заключению—Юлию Круковскую. Нас засыпали вопросами: по какому мы процессу, что делается в России, кто идет еще за нами в каторгу и т. д. Во время нашей оживленной беседы в комнату вошла тонкая, стройная молодая женщина в небрежно накинутом арестантском халате. Маленькое личико, почти детское, освещалось большими синими лучистыми глазами, волосы цвета бледного золота рассыпались по плечам. Медленно, сдержанно она поздоровалась с нами, назвала свою фамилию: „Кутитонская". Мое внимание сразу приковали эти глубокие синие глаза, менявшие свой цвет, как морская волна.

В тюрьме в это время было 5 женщин: Армфельд, Кутитонская, Каленкина, Круковская и Сарандович. Другие: Россикова, Лешерн, Шехтер и Левенсон находились в лазарете.

Тюрьма состояла из 3-х небольших комнат, 2-х маленьких темных, нечто вроде карцеров, кухни и передней. Раз-

мещались мы по комнатам, как хотели. Целый день могли проводить во дворе. Нам выдавали хлеб, крупу, немного мяса; мы сами готовили себе пищу, имели право покупать на свои деньги продукты через надзирательницу. Довольно долго со времени нашего приезда мы не имели никакого представления о нашем начальстве. Единственный наш страж, надзирательница скорее играла роль нашей экономки, и та на ночь уходила домой. В довершение идиллии надзирательница по нашей просьбе распорядилась принести нам срубленных молодых лиственниц, которыми мы украсили комнаты. И только часовые вокруг палей своими перекличками говорили нам „memento mori“.

Как-то, во время нашего обеда, в тюрьму вошел высокий представительный господин лет 45—50, с тонким интеллигентным лицом. Поздоровавшись с нами очень вежливо, спросил, по какому мы процессу, не надо ли нам чего. Это был заведующий уголовной и политической каторгой Потулов. Мы спросили: нельзя ли нам повидаться с близкими нам товарищами мужчинами, сидевшими в другой тюрьме на том же промысле. Потулов разрешил только по одному свиданию. К этому времени из Иркутска был уже привезен Щедрин, которому смертная казнь, по ходатайству иркутского губернатора Педашенко, была заменена прикованием к тачке. Официально Потулов не имел права давать таких свиданий, но он распорядился вызвать Щедрина и меня в лазарет на консультацию к доктору.

Однажды утром к нам в тюрьму влетел вихрем какой-то мужчина, одетый по дорожному, и бросился целоваться с Армфельд, Каленкиной, потом со всеми другими—я была изумлена. Это была Брешковская, которая и потом на Каре ходила в мужском костюме.

Время проходило в чтении (мы получали книги из библиотеки мужской тюрьмы, довольно богатой), в приготовлении пищи, в шитье, вернее—в починке изношенной одежды, в разговорах и спорах на разные политические темы.

Так мирно шла жизнь до того момента в том же году, когда был обнаружен побег из мужской тюрьмы 8-ми человек. Из Читы прискакал губернатор Ильяшевич, велел брать штурмом мужскую тюрьму, произошла настоящая битва,— даже врач был тут же с перевязочными средствами. После разгрома тюрьмы всех мужчин развели по разным промыслам, посадили на карцерное положение, а 16 человек, наиболее активных, были отправлены в Петербург в Петропавловскую крепость (в том числе Щедрин). Из лазарета были

переведены в нашу тюрьму Лешерн, Россикова, Шехтер и Левенсон.

Потулов был сменен. Вместо него прислан жандармский офицер Халтурин—заведывать исключительно политическими.

К этому времени Сарандович окончила свой срок и была выпущена из тюрьмы для отправки на поселение.

Ожидалась отправка на поселение Кутитонской, которой тоже кончался срок каторги.

События в мужской тюрьме вызвали в нашей волнения, рассуждения, споры, как нам реагировать. Мнения разделились. Брешковская высказывалась за то, что всякая борьба в тюрьме бессмысленна, что товарищи с воли должны мстить за нас. К ней присоединились: Каленкина, Армфельд, Лешерн, Круковская,—я, Богомолец, Россикова и Шехтер держались других взглядов. Мы считали невозможным пассивно переносить оскорбительные положения, а также и физические неудобства, которые вели за собою медленную смерть. В этих спорах обнаружилась крайняя противоположность взглядов.

Брешковская, будучи приговорена за побег к наказанию плетьми, когда врач дал свидетельство, что она не может вынести такое наказание, сама написала, что она может вынести плети. Она видела в этом особое геройство. Для меня такая точка зрения была совершенно неприемлема. Я видела в таком наказании оскорбление, издевательство; применение такого наказания ко мне неизбежно вызвало бы самоубийство, как протест, могущий удержать тюремное начальство от применения такого наказания к другим. Правительство должно было знать, что такое оскорбление для политических—смерть.

Это расхождение во взглядах положило начало деления женской каторги на две группы: бунтующих и небунтующих.

Проводя свою точку зрения, Брешковская подала мысль Кутитонской убить губернатора Ильяшевича, когда она вскоре будет выпущена на поселение. В это время я жила в одной камере с Кутитонской, и мы очень подружились. Я видела, какая жестокая борьба шла в этой прекрасной душе.

Попав в каторгу очень молодой, отбыв 6-летний срок, страстно любя жизнь, стремясь увидеть на воле человека, которого она любила—она рвалась на волю. Под влиянием бесед с Брешковской, она убеждала себя в необходимости пожертвовать собой снова и на этот раз без надежды, неизбежно, имея возможность снова вернуться в жизнь, идти на верную смерть.

Умирать в бою легче, чем месяцами готовиться идти на смерть, зная, что выбор между жизнью и смертью зависит от тебя самого.

Много бессонных, тяжелых ночей провели мы с нею перед ее увозом. В последний момент решение было принято.

Выйдя на волю, она бежала с поселения в Читу, выстрелила в Ильяшевича, ранила слегка, была приговорена к смертной казни; по просьбе самого Ильяшевича (шифров. телегр. Ильяшевича: „Считая Кутитонскую орудием содержащихся на Каре и в виду счастливого исхода раны, ходатайствую о даровании ей жизни“), смертная казнь была заменена бессрочной каторгой. Генерал-губернатор Восточной Сибири Анучин, высказывая мнение о неудобстве вернуть снова Кутитонскую на Кару, говорит: „подобный же случай высылки на Кару госуд. преступника Николая Щедрина, которому смертная казнь была заменена прикованием к тачке, вызвал особое движение между находившимися на Каре преступниками, повел к различным преступным со стороны последних манифестациям и доказал, что подобные лица пользуются особым сочувствием со стороны государственных преступников, как мученики за идею“. Кутитонская была увезена в Иркутскую тюрьму, где потом мы с нею встретились, и там после нашей 16-ти-дневной голодовки вскоре умерла от туберкулеза.

Возвращаюсь к описанию Кары. После увоза Сарандович и Кутитонской, Халтурин решил расправиться и с женской тюрьмой, хотя никакого повода для этого не было. В одно непрекрасное утро в нашу тюрьму ввалилась толпа казаков, грубо набросилась на нас, стала растаскивать нас по камерам, запирать камеры на замок. У нас отобрали все. Пришла надзирательница с уголовными женщинами. Они сняли с нас нашу одежду и переодели в казенную. Рубахи толстого мешечного холста не доходили до колен с широко открытыми воротами, открывали грудь и спину, рукава были только наплечниками, на которых держалась рубаха, оставляя голой всю руку. Юбочки такого же холста едва прикрывали колена. Ни портянок, ни обуви нам не оставили. Не оставили и арестантских халатов, которыми мы могли бы прикрыть нашу наготу. Внутрь тюрьмы поставили караул из казаков, к которым непрерывно приходили их товарищи. В камере нам поставили огромные ушаты-параши, которые мы обязаны были сами выносить по-двое на длинной тяжелой палке. Эта процессия вызвала издевательство над нами казаков. Тотчас после такой распра вы

вся наша тюрьма решила протестовать голодовкой и отказом выносить параши. Но спустя дня два Брешковская и сходившиеся с нею во взглядах перерешили, стали подчиняться новому режиму. Продолжали протест: я, Шехтер, Богомолец и Россикова. Сидевшая со мной в одной камере Левенсон, хотя сама была против протеста, тоже держалась с нами.

Через несколько дней к нашей тюрьме подъехало несколько двуколок, запряженных волами, нас вывели на улицу, посадили в эти экипажи и повезли на Усть-Кару, в 20-ти верстах от Нижней Кары, где мы содержались. Дорога нас освежила, настроение у всех было даже веселое.

Усть-Карийская тюрьма была построена исключительно, как карцерное помещение для провинившихся уголовных. Поэтому и устройство ее было таково: длинный широкий коридор, посреди которого стояли две большие варистые печи: по бокам коридора слева и справа шли крошечные камерки величиной менее кубической сажени, с крошечными длинненькими окошечками вверху, какие делаются только в плохих конюшнях. По стенам камер было нечто из досок и вроде нар для спанья, между нарами оставалось пространство, в котором с трудом можно было повернуться, в которое был втиснут ушат-параша. Грязные стены буквально кишели клопами, которые целыми огромными пятнами двигались по всем направлениям. Камеры не имели никаких печей. Несмотря на лето, при входе в них охватывал холод и сырость. Зимою стены внутри камер покрывались снегом. Пол из деревянных досок был изъеден крысами, которые беззастенчиво появлялись даже днем. На нарах никаких признаков постелей.

Видя, в какое возбуждение мы пришли, увидев такую обстановку, надзирательница стала нас успокаивать, что мы будем целый день отперты, нам выдадут наше платье, надняях начнут ремонтировать всю нашу тюрьму.

Нам принесли из уголовной тюрьмы так-называемую баланду, нечто вроде супа,—вода, в которой плавают кусочки капусты и микроскопические намеки на мясо, и по 3 фунта на человека очень хорошего черного хлеба. Нас оставили незапертыми, и мы могли свободно выходить во двор. Бунтующие решили обождать, что будет дальше.

Прошло несколько дней. Как-то утром, проснувшись, мы увидели, что наши камеры заперты на замок. Бунтующие (я так буду называть, чтобы не перечислять каждый раз всех фамилий) стали стучать в двери. Появились жандармы

и объявили, что комендант приказал держать нас запертыми, выпускать только по одной в коридор для „всяких надобностей“. Бунтующие подняли протест, требуя открытия камер на день и на ночь, своей одежды или хотя бы казенных халатов и чистки камер от клопов, клопы нас съедали, мы не могли спать. На 3-й день нашей голодовки камеры были отперты на день, на ночь запирались. Нам были выданы арестантские халаты.

Не стану описывать все наши протесты и голодовки—это был непрерывный ряд так-называвшихся на Каре „бунтов“.

Было назначено следствие, нас позвали на допрос, в контору, мы отказались идти, нас понесли жандармы, в конторе мы не отвечали на вопросы. После этого к нам в тюрьму пришел какой-то чиновник и прочел нам: „Вызванные на допрос о бунтах Ковальская, Шехтер, Богомолец и Россикова, не пожелавшие ничего сказать ни в свое оправдание ни в свое порицание, переводятся из разряда исправляющихся в разряд испытуемых“.

После заведывания всей каторгой Потуловым, заведующими политической каторгой были жандармские чины, которые сменялись каждые три месяца. Когда окончился срок Халтурина, приехал принять от него тюрьму новый комендант Бурлей, мы (бунтующие), сидя в запертых камерах, заявили, что не позволим Халтурину быть в нашей тюрьме во время приема нас новым. Комендант Халтурин, несмотря на это, вошел в коридор, мы стали бить двери, кричать: „вон“. Это продолжалось довольно долго. Бурлей попросил Халтурина выйти, так как иначе ему не удастся нас принять. Когда Халтурин вышел, мы спокойно отвечали на вопросы нового коменданта, который был с нами очень вежлив, обращался к нам не иначе, как „Mesdames“!

Вскоре в нашу тюрьму привезли обратно из Минусинска Марию Павловну Ковалевскую. Она была в числе первых каторжанок, прибывших на Кару. Я уже говорила о ее болезни и переводе в Минусинск по ходатайству Кононовича, заведывавшего в то время Карой. Теперь, когда она поправилась, ее вернули снова на Кару.

Трехмесячное управление Бурлея прошло совершенно спокойно. Он делал все возможное, чтобы улучшить наше положение; камеры были открыты днем и ночью, запирался на ночь только наш коридор, мы могли выходить во двор на прогулку, нам выдали свое белье, кое-что из платья, книги, материал для работ, разрешена была пере-

писка с родными. Когда окончился 3-х-месячный срок Бурлея, он подослал к нам одного из жандармов, служивших в нашей тюрьме, разузнать, будем ли мы и его выгонять. Мы рассмеялись и успокоили, что его выгонять не за что.

Бурлея сменил очень молодой жандармский офицер Шубин. Убежденный противник революционеров, по своему честный, он нашел, что тюрьма распущена, и стал подтягивать. Вскоре после своего приезда он явился в тюрьму в сопровождении воинского начальника, полицеймейстера, смотрителя тюрьмы. За ними шли жандармы с веревками, затем казаки с ружьями. Войдя в тюрьму, Шубин распорядился обыскать тюрьму и произвести личный обыск. „А тех, которые будут сопротивляться личному обыску—вязать“. Не было никакого повода для такого оскорбительного отношения к нам. Бунтующие, к которым присоединилась и Ковалевская, вышли демонстративно в тюремный двор и заняли скамью, стоявшую у стены тюрьмы, решив сопротивляться.

Окончив обыск в камерах и обыскав несопротивлявшихся, Шубин в сопровождении казаков с ружьями подошел к нам.

— Напрасно думаете, что избегнете обыска,—обратился к нам насмешливым тоном.

— Мы считаем личный обыск оскорбительным и добровольно подчиняться не станем.

— Я употреблю силу вплоть до расстрела.

— Расстреливайте!

Шубин не решался, ушел опять в тюрьму.

К нам вышел смотритель тюрьмы старик Петров. Человек добродушный, но очень недалекий.

Торжественно подойдя к нам, он начал:

— Екатерина была тоже женщина, писала законы, а вот вы не хотите подчиняться законам.

Логика была столь неожиданная, что в ответ с нашей стороны последовал дружный взрыв хохота.

Почувствовав, что он взял на себя совсем ему несвойственную роль, он сам рассмеялся.

— Однако, я сказал какую-то глупость. Ну их, пусть сами тут хороводятся.—И, махнув безнадежно рукой, покинул позицию.

Долго шло совещание в жандармской комнате Шубина с другими чинами. Как потом нам рассказывали жандармы, служившие при нашей тюрьме, все другие чиновники уговаривали Шубина не делать над нами насилий,—один из них сказал: „их надо или убить, или делать уж так, как они хотят.--Умрут, а не подчинятся“.

Мы ждали. Шубин производил впечатление человека, который не остановится и перед расстрелом.

Наконец, все начальство вышло из тюрьмы. Шубин, построив против нас солдат, скомандовал им: „ружья на готове“. Воинский начальник, полицеймейстер и смотритель поспешно устремились к выходу из тюремного двора.

— В последний раз требую,—голос у него дрожал и оборвался.

Мы ответили:

— Стреляйте!

Вдруг неожиданно для нас Шубин развел руками и со словами: „Ну, я умываю руки“ направился к выходу. За ним поспешили казаки.

После этого эпизода он написал куда-то (точно не знаю кому) донесение, прося убрать нас, бунтующих, с Кары, в виду невозможности справиться с нами.

Шубина сменил Манаев, картежник, пьяница, который проигрывал деньги, посылавшиеся нам, был судим за это и сослан в Якутскую область. В его царствование пришел ответ на просьбу Шубина: распоряжение отправить нас. Первую увезли Ковалевскую, затем меня, Богомолец и Россикову. Шехтер не была увезена. Дорогой нам сказали, что нас везут в Иркутск.

Впоследствии я узнала, что к Шехтер был применен в числе прочих манифест, вследствие чего ее вскоре после нашего увоза решено было отправить на поселение. Когда ей объявили, что по манифесту ее срок окончен, она отказалась принять манифест и требовала вернуть ее опять в тюрьму. Комендант не знал, что делать: оставлять в тюрьме он не имел права, ехать она отказалась. Тогда он убедил ее ехать в Иркутск, где она заявит свой отказ, а там уж решат, что с ней делать. Она согласилась. Приехав в Иркутск, Шехтер подала заявление ген.-губернатору: „По словам заведывающего Карийскими государственными ссыльно-каторжными, меня освободили от каторжных работ, благодаря всемилостивейшему манифесту 15 мая 1883 года.—Не считая никого в праве ни наказывать, ни миловать меня, и смотря на то и на другое, как на насилие, я заявляю, что отказываюсь от дарованной милости и согласна лучше отбыть весь срок каторжных работ, чем принять милость от врагов той идеи и того дела, за которое была присуждена в каторжные работы. Шехтер. 10 августа 1884 г.“ [1]). В Ир-

[1]) Текст заявления выписан из дела, имеющегося в историко-револ. архиве.

кутске за отказ от манифеста ее отправили в Якутскую область на поселение.

По дороге в Иркутск недалеко от Кары мы встретили Анну Павловну Корбу, которую везли на Кару. На станции, едва мы разговорились, наш конвой грубо стал кричать на нас, требуя, чтобы мы сейчас же ехали дальше. Мы отказались, заявив, что после получаса беседы мы поедем. Конвой, со словами: „прошло то время, когда начальство вас обожало, мы с вами теперь расправимся", набросился на нас и втащил в сани. Богомолец и Россикова решили после этого ни с одной остановки, вплоть до Иркутска, не выходить добровольно. Мне не особенно нравился этот способ протеста, но я все же присоединилась, не находя возможным быть пассивным зрителем такой борьбы. Это так измучило конвой (а нас еще больше), что с половины дороги наши враги сдались; просили у нас прощения, предлагали нам делать остановки и ночевки где мы захотим. Мы с снисходительным видом согласились, в душе же обрадовались окончанию этой мучительной борьбы.

В Иркутской тюрьме нас поместили в особый коридор, в котором в это время содержались: Кутитонская, Чернявские муж и жена, ехавшие в Западную Сибирь из Якутска, и Чикоидзе, которого провозили на каторгу за его побег с поселения.

Здесь у меня произошло столкновение с губернатором Носовичем. В тюрьме я никогда не вставала перед начальством.

Войдя в мою камеру, Носович удивленно посмотрел на меня, ожидая, что я встану. Я продолжала сидеть.

— Вы не знаете простых правил вежливости,—обратился он ко мне раздраженно.

— Я это самое думаю о вас. В какой-нибудь гостиной вы не позволили бы себе сделать такое замечание даме, но мы с вами не в салоне. Вы—мой тюремщик,—я у вас в плену.

— Отведите ее в карцер,—приказал Носович смотрителю, стоявшему тут же.

— В карцер я добровольно не пойду.

Через несколько дней ко мне пришел полицеймейстер прочесть мне официальный выговор. Я ответила, что слушать не стану, он спешно пробормотал, смотря в бумагу, и вышел.

С первого же дня приезда в Иркутск, я стала думать о побеге. Осенью того же года, 1884-го, я бежала. Не стану

здесь отвлекаться описанием этого очень сложного, трудного выхода из тюрьмы, скажу о нем в другом отрывке моих воспоминаний.

Пробыв на воле 1½ месяца, я была снова арестована. Меня посадили в камеру-карцер, которая находилась в одном коридоре с другими одиночками, в которых содержались наиболее важные уголовные и в которые временно сажали политических пересыльных. Моя камера была темна, холодна и сыра. Пол покрыт замерзшими помоями. Ни нар, ни стола. На полу лежала маленькая охапка соломы. С меня при аресте сняли все свое, переодели в казенное: коротенькую арестантского сукна юбку, грубого полотна короткую рубаху, громадные коты (нечто вроде башмаков), из которых мои ноги выскакивали, без портянок, и дали арестантский халат.

На другой день ко мне вошел смотритель тюрьмы, молодой поляк Хрусталевский.

— Я только что ездил в город хлопотать, чтобы разрешили мне поместить вас в другую камеру,—нельзя же содержать человека в таких условиях. Получил согласие, сегодня же вы будете переведены отсюда.

Действительно, к вечеру меня поместили в том же коридоре в камеру более светлую, в которой была поставлена кровать с мешком, набитым сеном, и такой же подушкой. Маленький столик и на нем тюремная лампочка-коптилка.

Вечером надзиратель принес мне чайник кипятку, заваренный чай, с фунт сахару и очень аппетитных белых сдобных булочек.

Я спросила:

— Откуда это?

Надзиратель с таинственным видом шопотом сказал:

— Ваши прислали.

Впоследствии я узнала, что это прислал Хрусталевский, строго наказав надзирателю сказать, что это от товарищей: „а то она ни за что не возьмет от меня“.

Должна сказать, что, несмотря на ответственность за мой побег (он шел под суд), Хрусталевский не только не мстил мне, но относился ко мне с большим сочувствием. При допросе меня после ареста, я слышала, как он говорил следователю: „не мучьте ни себя, ни ее, ведь она все равно ни за что отвечать вам не станет“.

Здесь я не могу не упомянуть об одном эпизоде этого времени, который показывает, как наше поведение в тюрьме отражалось и на других.



Один из караульных начальников, молодой пошленький офицерик, делая обход тюрьмы, заглянув в мою камеру, позволил себе сказать какую-то пошлость по моему адресу; в ответ я обругала его. Он принес жалобу на меня. Я письменно назвала соответственным словом его поступок, прибавив, что я не позволю ему в другой раз подойти к моей камере. Общество офицеров, его товарищей, вынесло приговор: удалить его из своего полка.

Через Иркутскую тюрьму в этот период проходила партия политических мужчин и женщин. Часть направлялась на Кару, часть на поселение. Все они были помещены в том же коридоре, где содержалась я. Пробыв несколько дней, они стали волноваться из-за плохих условий, в которых их держали, и стали высказываться за голодный бунт.

Я всячески уговаривала их ничего не предпринимать, тем более, что их на-днях отправят дальше.

Мы, бунтующие, крайне осмотрительно прибегали к этому способу протеста. Зная, как он тяжел для людей не особенно стойких и как ужасны последствия для лиц, идущих до конца, в случае когда часть голодающих сдается. Наиболее стойкие обрекаются на смерть—начальство затягивает голодовку, рассчитывая, что и другие тоже сдадутся. Мы, начиная голодовку, всегда были готовы умереть.

Ни мои убеждения, ни уговаривание других бунтующих (сидевших в это время в другом коридоре) не помогли. Проходившая партия объявила голодовку, требуя разных улучшений в нашем содержании. Мы (я, Кутитонская, Ковалевская, Богомолец и Россикова) присоединились к голодовке из чувства товарищества. Начавшие голодовку на 3-й день сдались и стали принимать пищу. Мы продолжали голодать (я, Ковалевская, Кутитонская, Россикова и Богомолец). Начальство, не зная нас, было уверено, что раз мужчины спасовали, то женщины сдадутся. Голодовка затянулась на 16 дней. Носович приехал в тюрьму, демонстративно проходя по коридорам, сказал смотрителю так, чтобы мы слышали: „Заготовьте 5 гробов заранее“.

Видя, что смерть неизбежна, рассчитывая, что первая смерть может заставить начальство пойти на уступки, я достала с помощью уголовных из тюремной аптеки порядочное количество хлорала (другого ничего достать было нельзя), проглотив его, для бо̀льшей верности, сделала петлю из пояса халата, повесилась на железном пруте спинки кровати, когда надзиратели задремали ночью в коридоре. Но, очевидно, хлорал недостаточно подействовал, чтобы убить, и в то же

время быстро меня усыпил, а потому петля недостаточно затянулась. Утром надзиратели сняли меня с петли, еще живой. Несколько дней я была в бессознательном состоянии.

Все это стало известно в городе. Иркутские дамы такназываемого „общества“, возмущенные, поехали к губернатору Носовичу и настояли на том, чтобы он сделал уступки. Почти все наши требования были удовлетворены, голодовка прекратилась. Иркутское общество стало посылать голодавшим всякие съестные продукты, виноград, вино, конфекты. Сочувствие всех было на нашей стороне.

Должна сказать здесь уж кстати, что наши бунты не оставались без влияния и за стенами тюрьмы. Так, на Кару приезжал какой-то чиновник Русинов, который вошел к нам со словами: „Я послан узнать, что здесь с вами делают; общество и заграничная пресса нам не дают покоя из-за вас“.

Влияние было и на сторожививших нас солдат. В одной из наших историй на Каре, когда комендант приказывал „затащить“ нас в камеры, старший жандарм от лица пяти других ответил: „Ваше высокоблагородие, мы не тигры какие, чтобы набрасываться на беззащитных женщин, увольте нас, только мы не согласны“. Комендант опешил.

Последствия этой голодовки были тяжелы. У Россиковой отнялись ноги. Богомолец стала подозрительно кашлять, очень ослабела, у Кутитонской быстро пошел туберкулезный процесс, у Ковалевской совершенно не действовал кишечник и только после долгого времени ежедневной электризации она стала поправляться, очень медленно, у меня возобновилось кровохаркание.

Иркутский суд приговорил меня за побег к 90 плетям. Носович нашел, что суд назначил слишком большое количество и внес поправку: „Наказать плетьми через палача *по мере ее сил*“ (курсив мой).

Ко мне вошли два врача со смотрителем тюрьмы, для освидетельствования.

Узнав цель их прихода, я вежливо попросила их удалиться, заявив, что я не позволю себя осматривать для этого, а телесное наказание смогут привести в исполнение только над моим трупом.

Врачи, поклонившись мне весьма почтительно, удалились. Уголовные арестанты, узнав об этом, подняли шум. Кричали громко во всех камерах, что они не дадут наказывать Ковальскую, разнесут всю тюрьму.

Мой побег, моя решимость бежать с уголовными создали мне в их среде огромную популярность. При всех их „качествах“, они в общем большие энтузиасты, способные моментами проявлять необыкновенно рыцарские чувства.

Начальство, боясь вызвать бунт уголовных, решило не приводить наказание надо мною в Иркутске.

После голодовки, побега, думая, что у меня могли остаться связи на воле (я была арестована на улице, и они, несмотря на обещанную награду в 1.000 руб., обещание которой было расклеено по улицам города, так и не узнали, где я скрывалась), решили увезти всех нас обратно в Кару.

Весною 1885 года, меня первую отправили с 6-ью жандармами на тройке. Лед уже давал трещины на Байкале, жандармам (как я узнала потом) были даны прогоны по кругобайкальскому тракту (железных дорог там еще не было), но они, желая сберечь больше денег от этой командировки, рискнули ехать льдом, через Байкал. Несколько раз мы были на волоске от смерти, выскакивали из саней на льдины, погружавшиеся в воду под нашими ногами. Промокшие до костей, полузамершие, мы кое-как добрались до другого берега Байкала. Пересев на телеги, мы доехали до Шилки, а там, пересев на баржу, черепашьим ходом дотянулись до Кары.

Дорогой от Иркутска на Кару я разговорилась с моими жандармами; состав был приличный, всю дорогу был со мной вежлив. Подъезжая к Каре, старший мне показал бумагу, в которой предписывалось коменданту привести в исполнение надо мной приговор Иркутского суда за побеги дать 90 плетей без освидетельствования доктором, так как я в Иркутске отказалась принять врача, приходившего ко мне для этого. На одной из станций мы съехались с одним чиновником тюремного ведомства, человеком весьма приличным для своего положения, относившимся с уважением к политическим; он сообщил мне, что комендантом политических на Каре был последнее время опять возвратившийся Бурлей, но, получив предписание привести в исполнение надо мной приговор, ответил в Иркутск просьбой уволить его с этой должности, так как он такой приговор над политической арестанткой не может выполнить. Бурлей был смещен и переведен на значительно низшую должность этапного начальника, а вместо него был прислан Николин. Чиновник имел возможность все это знать, служа в канцелярии; через его руки проходили все бумаги. Но насколько это было верно, я сказать не могу. Факт достоверный только тот, что Бурлей был смещен ранее трехмесячного срока без какого-

либо другого повода и был переведен этапным начальником как раз перед привозом меня на Кару с приговором.

Подъезжала я к Каре, с неособенно приятным чувством; имея хорошо запрятанный яд, я решила покончить с собой в случае телесного наказания.

На берегу меня встретили узнавшие о моем приезде Прибылева (рожденная Гроссман) и Лисовская, которых раньше я не знала. Меня увели в Усть-Карийскую тюрьму. Там я нашла новых товарищей, которые были привезены в мое отсутствие: Корбу, Лебедеву, Якимову, Ивановскую. Из прежних оставалась одна Лешерн.

В тюрьме меня встретили товарищи очень сдержанно. Мне был понятен такой прием со стороны старых товарищей, с которыми отношения были обострены, в силу принципиальных разногласий, но непонятен был со стороны новых, не знавших меня. Впоследствии одна из новых объяснила мне: предубежденность, навеянная прежними, повлияла на истолкование полученного из Иркутска от одного из товарищей письма, в котором он, рассказывая о голодовке, говорит: „петухи сдрефили, на 3 й же день стали есть в то время, как остальные выдержали 16 суток, пока начальство не удовлетворило их требований“. Карийцы решили, что эпитет „петухи“ относится к нам, тогда как он относился к мужчинам проходившей партии.

Было еще одно обстоятельство: некоторые из товарищей, узнав, что я бежала из тюрьмы вместе с уголовными, по какой-то странной логике, стали решать вопрос, как меня считать: политической или уголовной. В момент приезда я этого ничего не знала. Держала себя настороженно и выжидательно. Меня пригласили обедать, вечером позвали к общему артельному чаю и как-то незаметно, без всяких объяснений, я вошла в общую тюремную артель, хотя отношения оставались несколько натянутыми и далекими.

Приехал в тюрьму Николин, хитрая старая жандармская лиса. Он подошел ко мне очень осторожно, высматривая и зондируя. Потом один из жандармов, служивших при нашей тюрьме, которого я распропагандировала, сообщил мне, что Николин, после нескольких визитов в нашу тюрьму, сказал им—„с этою лучше не начинать“—и приказал им не вызывать меня на столкновения. Так приговор надо мной не был приведен в исполнение.

Привезли еще новых: Калюжную, Смирницкую. Спустя некоторое время из Иркутска вернулись обратно на Кару Богомолец и Россикова.

Здесь мне придется возвратиться назад в своих воспоминаниях и коснуться другой стороны нашей жизни, без чего будет непонятно дальнейшее.

При нашем первом приезде на Кару женская тюрьма в экономическом отношении делилась на группы и даже на одиночки. После нашего приезда мы образовали коммуну. Все получаемые деньги считались общими и тратились на улучшение пищи и на другие необходимые надобности. Так шло до момента, когда обострились отношения между бунтующими и небунтующими.

Не могу точно указать время, когда неожиданно для нас старший жандарм, вручавший всегда получаемые нами из дому деньги нашему старосте, Брешковской, пришел к нам и объявил: „Брешковская велела выбросить вас из артели, кому теперь мне передавать ваши деньги?“ Ни сама Брешковская, ни кто из бунтующих нам об этом ничего не сказал. Мы спокойно ответили: „вы, конечно, не поняли; Брешковская не могла так сказать вам, но ввиду того, что они выделяют свои деньги, вы будете вручать наши получки все равно кому из нас, артель существует и наши деньги будут принадлежать одинаково всем содержащимся в нашей тюрьме“.

В тот же день, войдя в камеру Круковской, я застала ее в слезах. На мои вопросы: в чем дело? она после долгого, упорного молчания объяснила, что ее и Левенсон (хотя они никогда не принимали никакого участия в бунтах и были гораздо ближе с той группой)—выбросили из артели. Я успокоила ее, сказав, что мы в экономическом отношении не делили и никогда не будем делить тюрьму на партии, считаем наши деньги одинаково принадлежащими всем. Поэтому ни ей, ни Левенсон (Круковская ничего не получала из дому, Левенсон очень редко) волноваться нечего.

Объясняться с другой группой по этому поводу мы не стали. С этого момента наши деньги и посылки сдавались кому-нибудь из нас и шли на общее пользование всех, кроме выделившихся. На имя некоторых лиц из небунтующих получались деньги и посылки не личные, а собранные в России для карийцев, но та группа, считая себя какой-то привилегированной, находила возможным по собственному усмотрению распоряжаться и таковыми. Выделив часть для себя, они остальное отсылали в мужскую тюрьму. Вследствие такого образа действий больные нашей артели очень страдали, не имея возможности получать необходимое для них добавочное питание. В нашей артели получали из дому правильно только я, Ковалевская и Богомолец. Последняя

как раз в момент, когда она серьезно заболела, перестала тоже получать из дому. Нас возмущало в этом не так неудобства, как принципиальная сторона. Должна отметить, что Богомолец, приходившая часто в ярость против тех, в то же время, когда мы приносили ей во время болезни особое питание, всегда непременно спрашивала нас: „а дали вы то же самое Левенсон?“, которая тоже болела в это время, но которая не принадлежала к бунтующим.

Я уже говорила, что, возвратясь из Иркутска, я вошла в артель. Когда приехали Богомолец и Россикова, я видела, что Корба имела с ними какой-то продолжительный разговор в запертой камере, потом ни Богомолец, ни Россикова не обедали с нами. На мой вопрос: „почему они не идут обедать?“ Богомолец резко раздраженно ответила: „мы будем отдельно“.—Почему? — „Пожалуйста, не мешайтесь в наши дела“. Зная хорошо характер Богомолец, я не делала попыток вводить их в артель, раз она мне заявила свое нежелание.

Мои отношения с Богомолец были крайне неровны. Многое роднило нас: работа вместе на воле, общий процесс, дорога, первый совместный побег, бунты, но разность отношения к небунтующим всегда создавала у нее враждебное отношение ко мне. Я систематически избегала подливать масло в огонь раскаленной тюремной атмосферы взаимных отношений. Всегда участвуя во всех бунтах против начальства, я ни разу не имела ни одного столкновения за долгое время каторги с кем-нибудь из небунтующих. Богомолец этого понять не могла. Страдая, может быть чересчур, уважением к чужим взглядам—я огорчалась, но не могла питать злобы. Богомолец же чуть не каждый вечер выступала с жестокими филиппиками против них. Только из этих выступлений я узнала, что их не захотели принять в общую артель. Попытки исправить это—ни к чему не привели.

Богомолец и Россикова никогда не могли забыть таких эпизодов: однажды, во время их столкновения с жандармами в тюремном дворе, жандармы, которые только что поступили в нашу тюрьму, люди очень грубые, набросились на них и стали тащить в камеры, причем ушибли Богомолец. Я, Шехтер и Ковалевская бросились их защищать; Брешковская, Лешерн, Каленкина, будучи вполне последовательны в своих взглядах (говорю это без всякой иронии), прошли спокойно мимо этого побоища в свою камеру, затворили за собою дверь и выжидали конца нашего избиения.

Привезли из Иркутска Ковалевскую. Она заняла такую же позицию, как и я: участвуя в бунтах, не принимала участия в столкновениях с товарищами.

Была привезена Ананьина.

Постепенно обостренность отношений дошла до того, что небунтующие обратились к коменданту с заявлением, чтобы их выделили из этой тюрьмы. Их перевели в другой домик, бывший за палями нашей тюрьмы.

Богомолец и Россикова были увезены на Амурский промысл.

После воцарения Александра III, на Кару был прислан флигель-адъютант Норд с большими полномочиями, предлагать политическим каторжанам подавать прошения о помиловании и выпускать тотчас же на поселение подававших таковые, не считаясь со сроком, на который они были сосланы в каторгу. Мне кажется (но не утверждаю, ибо точно этого не знаю), что это было в связи с требованиями, предъявленными Александру III остававшимися еще на воле народовольцами. В их обращении к Александру III был пункт об улучшении положения политических каторжан и по времени это совпадает.

Норд, посоветовавшись с комендантом, стал вызывать в контору отдельных каторжан, которых, вероятно, комендант считал наиболее склонными к компромиссу, а может быть еще по каким-либо другим соображениям. Вызванные из мужской тюрьмы несколько человек подали прошение и вскоре были, несмотря на то, что им оставалось еще до окончания срока много лет, уведены из тюрьмы и посланы на поселение. В числе их был и Емельянов, участник 1 марта.

Из нашей были вызваны Лешерн и Круковская. За последнюю мы немного побаивались. Барышню совсем непричастную к революциии, Круковскую, попросили знакомые в Киеве очистить квартиру Стефановича, скрывавшегося в это время, на что она согласилась по сердечной доброте; она была арестована в этой квартире, судилась, приговорена к $14^1/_2$ годам каторги (тогда как судившийся значительно позже сам Стефанович был приговорен на 8 лет). В тюрьме она была хорошим товарищем, много читала и старалась учиться. В бунтах участия (как я уже говорила) не принимала. Но и она не посрамила женской тюрьмы, с честью выдержала испытание и подать прошение отказалась.

В феврале 1888 г. я заболела на Каре цынгой, потом у меня появилось кровохаркание. Подозревая туберкулез, боясь заразить товарищей, я обратилась к тюремному врачу Соломонову, прося сказать мне его диагноз. Он уклонился ответить. Тогда я просила Марию Павловну Ковалевскую спросить его мнение без меня. После некоторого колебания, когда я ее убедила, что в данном случае скрывать правду от меня преступно, она сказала, что у меня действительно туберкулез и Соломонов думает, что я не доживу до осени. Я снова обратилась к Соломонову, прося удалить меня из общей тюрьмы в виду опасности заражения других. Он ответил, что это не в его власти, но что на-днях должен приехать из Иркутска какой-то жандармский чин, который, вероятно, сможет это сделать. Через несколько дней, в мою камеру вошел жанд. полковник фон-Плотто [1]). Между нами произошел следующий разговор: видя меня лежащей в постели, он спросил: „Вы больны?" — „Да, туберкулезом; я желаю, чтобы меня увели из общей тюрьмы, в виду опасности заражения других товарищей".— „*Вас* я не могу переводить; таких, как Вы, запрещено переводить в больницу". — „Мне безразлично, переведите меня в карцер, в какую-угодно одиночку,—только не оставляйте заражать других". — „Это совсем не заразительно", продолжал фон-Плотто. — „Вы не врач и потому ошибаетесь; возможно, что я заболела туберкулезом, только потому, что в этой самой камере недавно умерла туберкулезом Лебедева". — „Во всяком случае Вы переведены не будете". — „А если бы я совершила какое-нибудь новое преступление (с Вашей точки зрения), Вы наверное сочли бы возможным и нужным выделить меня в одиночку". Фон-Плотто постоял растерянно и, ничего не ответив, вышел. Вероятно, эта последняя моя фраза послужила поводом фон-Плотто истолковать мое невставание перед Корфом, как приведение в действие моей угрозы.

История моя с Корфом была только одним из случаев моего общего систематического поведения в тюрьме по отношению ко всем начальствующим лицам. Входя в первый раз в тюрьму, я задала себе вопрос: допустимо ли с точки

---

[1]) В печатаемом ниже рапорте министру юстиции исполняющего должность Забайкальского областного прокурора о событиях на Каре совершенно извращен мой разговор с жанд. полковником фон-Плотто. А также неверно этот эпизод ставится в связь с Карийской трагедией. На самом деле они ни в каком соотношении не находятся. Мой разговор с Корфом, мой увоз с Кары тоже переданы неверно, как видно из моего рассказа.

зрения обыденной вежливости вставать политическому арестанту при входе начальства. Не считая тюрьму салоном, в котором мы являемся хозяевами, а входящее начальство нашими гостями, я решила, что правила вежливости в данных условиях не применимы. Такое решение подкреплялось и моим строем чувств. Я решительно *не могла-бы* находясь в плену, вставать перед врагом, с которым я не прекращала борьбу и в тюрьме. Результатом такого решения поведения у меня бывали частые столкновения с разными представителями власти. Но последствия этих столкновений ложились исключительно на меня, никогда не затрогивая моих товарищей.

Осенью 1888 г. в нашей Карийской тюрьме заволновались жандармы, охранявшие нас. На вопрос, в чем дело, нам объявили, что на-днях приезжает сюда *сам* Корф, наместник Приамурского края: предвидя возможность серьезного столкновения из-за моего нежелания вставать, я, обдумав, как лучше избежать неприятностей для товарищей, решила перед приходом Корфа выйти во двор (в это время мы могли проводить целые дни в маленьком тюремном дворике), лечь на лавочку, стоящую в стороне от пути Корфа в здание тюрьмы, рассчитывая, что он может не обратить внимания на меня, а если и заметит, то столкновение произойдет в отсутствии других товарищей, которые в это время будут в здании тюрьмы. Я не желала делать демонстраций из моих невставаний, но раз это было неизбежно—я иначе поступать не могла. Когда вошел во двор тюрьмы Корф, я лежала на лавке (не сидела потому, что была слишком слаба в это время). Он прошел с большой своей свитой, состоящей из его помощников, нашего коменданта, тюремного смотрителя, воинского начальника и солдат с ружьями; прошел прямо в здание тюрьмы, как будто не заметив меня. Но, возвращаясь оттуда, круто повернул в мою сторону. Приблизившись ко мне, он раздраженно произнес: „встать!“. Я, продолжая лежать, ответила: „я сослана сюда за то, что не признаю вашего правительства, и перед представителями его не встаю“. Корф побагровел. Повернувшись к своей свите, крикнул: „поднимите ее штыками“. Свита растерянно топталась на месте, не приступая к действию. Продолжая лежать, я ответила: „Действуйте. Это будет в pendant к вашей речи к вашим подчиненным, которую вы закончили словами: помните, господа, сила не в силе, а сила в любви“. Корф растерялся. Спустя несколько секунд, быстрыми шагами направился к выходу. (Корф, приехав наместником

Приамурского края, созвав своих чиновников, произнес либеральную речь, которую закончил приведенными мною словами).

Прошло дня три. Мои товарищи успокоились, решив, что вся эта история никаких последствий иметь не будет. Я была убеждена, что это мне никак даром не пройдет. Кажется, на четвертую ночь после посещения Корфа, я проснулась от какого-то странного шума. Раскрыв глаза, увидела несколько мужских фигур, тихо подкрадывавшихся к моей постели с протянутыми в мою сторону руками. У меня мелькнула мысль, что это кошмар, и чтобы пробудиться от дурного сна—я вскрикнула. Но в ответ услышала вполне ясно: „Заткните ей рот". Мне заткнули рот куском моего одеяла и на руках вынесли во двор, прикрыв только моим одеялом. Бросив меня в телегу, стоявшую у ворот тюрьмы, какие-то люди (в темноте я не могла разобрать), держа мои руки и ноги, уселись в телегу вокруг меня. Телега тронулась. Рядом близко к телеге шли: наш комендант Масюков, смотритель уголовной тюрьмы Бобровский (впоследствии выполнивший приговор сечения над Сигидой), воинский начальник и еще мне незнакомые лица. Бобровский всю дорогу издевался надо мной, поддерживаемый смехом шедших с ним коменданта Масюкова и других. Я отвечать не могла— у меня во рту был кусок одеяла, я едва дышала. Наша процессия подходила к реке Шилке. Телега въезжала в реку, передние колеса покрылись уже водой. Невольно явилась мысль, не хотят ли бросить меня в реку. Но телега круто опять повернула к берегу, остановилась у маленького домика. Люди, сидевшие в телеге, внесли меня в пустую комнату, положили на пол, держа меня за руки. Послышался голос Бобровского: „переодень ее в казенное" (я была в одном белье); мужчины, державшие меня, бросились за казенным бельем; я, воспользовавшись этим моментом, вскочила и дала пощечину Бобровскому. На меня набросились, стиснули,—я потеряла сознание. Очнулась утром, лежа на дне большой лодки, окруженная солдатами, державшими надо мной растянутый арестантский халат, чтобы я не могла выброситься из лодки. На мне была только казенная короткая полотняная рубаха и коротенькая такая же полотняная юбка. Голые ноги были все в синяках. Я чувствовала себя избитой и не могла пошевельнуться. Мы плыли куда-то по реке Шилке. Один из солдат моего конвоя, заметив, что я открыла глаза, сердечным тоном произнес: „ну, слава Богу, очнулась, ишь подлец, как изуродо-

вал слабую женщину". Я удивленно посмотрела на симпатичное лицо молодого солдатика, конфузливо замолчавшего. Дорогой я узнала, что весь конвой, 8 человек, сопровождавший меня, никакого участия не принимал в расправе надо мной,—он был уже в лодке с вечера наготове, поджидая моего выхода. Это был обратный конвой, приведший партию уголовных на Кару. Должна сказать, что весь конвой всю дорогу искренно *жалостливо* относился ко мне, старался всем, чем мог, облегчить мое трехсуточное путешествие лодкой до Стретенска. Были уже заморозки, солдаты снимали поочереди свои шинели, чтобы закутать меня. У молодого солдатика, когда он, разорвав свое полотенце, обертывал мои голые ноги,—в глазах стояли слезы. Потом дорогой мы все время беседовали, они засыпали меня вопросами, живо интересуясь, за что нас так преследуют и в чем наша вера. Почти весь конвой был из так-называемых в Сибири „семейских": это молодое поколение сосланных в Сибирь за веру старообрядцев. В них чувствовалось что-то твердое, стойкое и умственное, с духовными запросами. В Стретенске мы расстались приятелями.

О том, что произошло на Каре после моего увоза—мне стало известно в Верхнеудинской тюрьме, где меня держали в строгой одиночке, только через год. Уголовные арестанты, по окончании срока каторги, пересылались через Верхнеудинск. тюрьму на поселение. Один из них принес мне записку из Читы от одного из моих товарищей, в которой тот, рассказывая о самоубийствах на Каре, прибавлял, что несколько человек карийцев решили, что, если еще кто-нибудь из товарищей покончит с собой, они тоже примут яд. (Были названы фамилии Феликса Кона и Сергея Диковского). „Если вы вздумаете последовать примеру ваших друзей, вы возьмете на себя нравственную ответственность за новые самоубийства". Этим заканчивалась записка.

Я решила предпринять мой третий побег из Верхнеудинской тюрьмы, чтобы отомстить на воле за погибших. Но на этот раз мне побег не удался. О моей попытке побега узнал прокурор Верхнеудинска, донес Корфу; получилось распоряжение перевести меня в Горный Зерентуй. Дорогой я узнала от моих конвоиров, что в Горном Зерентуе им приказано сдать меня Бобровскому, который в это время был назначен помощником заведующего каторгой. Я решила

убить Бобровского. (Мне было уже известно, что он распоряжался наказанием Сигиды). При мне был всегда небольшой кинжал, который мне сделали уголовные арестанты из хорошего ножа. (Уголовные всегда относились ко мне с готовностью все сделать даже с большим риском для себя и совершенно бескорыстно). Из Верхнеудинска в Горный Зерентуй меня везли на телеге день и ночь 11 суток. Ночью меня ввели в Горно-Зерентуйскую тюрьму; я еле держалась на ногах от усталости, но помнила одно: надо убить Бобровского. Он стоял в комнате, окруженный надзирателями, я вошла в сопровождении моего конвоя. Быстрым движением выхватив кинжал из рукава меховой куртки, я бросилась на Бобровского; надзиратели схватили мою руку. Мне не удалось. Зная Бобровского по Каре (он испытывал наслаждение, наказывая розгами уголовных, и придумывал самые мучительные наказания), я ждала, что буду здесь на месте убита. Но Бобровский стоял бледный, молча. Начальник тюрьмы спросил меня: „за что вы бросились на помощника каторги".—„За то, что он был палачем Сигиды и других моих товарищей". Начальник тюрьмы стал составлять протокол. Бобровский, подойдя к нему, громко сказал: „протокола не составлять". Начальник тюрьмы возражал, что он обязан. Бобровский настойчиво повторил: „Я вам приказываю протокола не составлять". Меня увели в камеру—это была мертвецкая, куда ранее сносили трупы, но которая была очищена для моего приезда, как самая изолированная. Я ждала с часу на час какой-нибудь особенно утонченной жестокости со стороны Бобровского. Но проходили дни, прошел месяц,—никаких последствий моего покушения. Камера моя была в здании тюремного лазарета, ко мне входили только надзиратели-фельдшера, принося мне пищу. Постепенно у меня установились добродушные отношения с фельдшерами, и я узнала от них, что Бобровский тяжело болен, у него чахотка; они дежурят подле него, он часто бредит и в бреду часто его мысль возвращается к политическим, он много раз повторяет: „Ковальская была права, я подлец, она должна была меня убить". Вскоре он умер. Умирая, он отказался принять напутствие священника.

КАРИЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ.

Из воспоминаний Г. Ф. Осмоловского.

I.

Посещения разного высшего начальства были, пожалуй, единственным развлечением Карийской каторги. Суета начиналась задолго. Ремонтировались крыши, белились стены казенных зданий, выравнивались дороги, осматривались лошади и экипажи под почетного гостя и его свиту. Тюремная, горная и военная администрации трепетали авансом. Да и как было не трепетать. За каждым служащим, от высшего до самой мелкой сошки, водились грешки. Кара заключала в себе два источника богатств: золото и ссыльно-каторжных. Золото добывалось из земли, а затем приблизительно одна четверть его торжественно отправлялась собственнику, т.-е. кабинету его величества, а три четверти в Китай, обогащая попутно целую организованную армию посредников. Но золото—капризный источник: надо уметь его найти. Второй источник—более верный. Для содержания нескольких тысяч каторжников требуется не мало продуктов и материалов, которые надо купить, доставить и потом разделить. Как ни ничтожен арестантский паек, а обогащается им тюремная администрация, вероятно, всего света. Любой смотритель каторжной тюрьмы в несколько лет становится обыкновенно не только зажиточным, но и богатым, а жалованьишко им в былые времена полагалось прямо нищенское. Как же тут не трепетать, ожидая большое начальство. Трепетали буквально все. Надо еще заметить, что Карийская администрация, за редкими исключениями, состояла из офицеров и чиновников с подмоченной репутацией. Были судившиеся за разные некрасивые дела, но помилованные,

были состоявшие под следствием, но избегшие суда, были и такие, которых послали на Кару, как в последнее прибежище, где их будут терпеть до первого случая. Одним словом, компания—первый сорт. По опыту знали они все, что большое начальство любит торжественную встречу, хорошее угощение, наружный блеск помещений, веселый и бодрый вид нижних чинов и арестантов, опять хорошее угощение и торжественные проводы. Сообразно с этим выработался и соответствующий церемониал. Торжественная встреча с почетным караулом, ординарцами и т. п. аксессуарами, приличное угощение, отдохновение, представление начальников отдельных частей, опять угощение и отдохновение. Посещение тюрем обыкновенно начиналось на другой день по приезде. Хотя час посещения той или другой тюрьмы приблизительно определялся, но смотрителя и командиры казачьих сотен от промысла до промысла на высоких местах расставляли махальных. Тюрьма блестит чистотой, арестанты в новых, выданных на время посещения, халатах. Смотритель в полной форме нервно прохаживается у ворот, сотенный командир производит беспрерывную репетицию рапортования караульного начальника. Наконец, где-то кричат: „Сял, сял!“, т.-е. особа на ближайшем промысле села уже в экипаж. Все замирают в томительном ожидании. Вдали виднеется пыль. Впереди мчатся конные казаки, потом экипаж с начальством: у подножки полицеймейстер на лихом коне, в виде телохранителя, потом опять казаки, а за ними с десяток экипажей со свитой и местными заправилами. Все это сытое, самодовольное, после хорошего завтрака с выпивкой и в ожидании парадного обеда, с тостами, речами, музыкой и обильными возлияниями. Быстрая езда в удобных экипажах, короткие остановки на каждом промысле для быстрого обхода тюрем, казарм и лазаретов,—один из приятных эпизодов триумфального объезда вверенного края...

В августе 1888 года такое триумфальное путешествие по вверенному краю совершал приамурский генерал-губернатор барон А. Н. Корф. Карийское начальство встретило его честь-честью. Тюремный инспектор Д. Ф. Коморский, заведывавший в то время уголовной каторгой, сумел показать товар лицом, и барон приходил в восхищение, целовался, жал руки, благодарил. Ревизия (такие увеселительные поездки называются ревизиями) сошла блистательно, и у барона и его свиты остались бы о Каре самые теплые воспоминания, если бы не один неприятный инцидент. В жен-

ской политической тюрьме в селении Усть-Кара бессрочная каторжанка Е. Н. Ковальская не встала при посещении генерал-губернатора и на замечание последнего ответила „дерзко“.

В то время политические каторжанки содержались на Каре в трех помещениях: на Усть-Каре в одном здании— Е. Н. Ковальская, М. П. Ковалевская, М. В. Калюжная и Н. С. Смирницкая; в другом: С. А. Лешерн, А. П. Корба, П. С. Ивановская, М. Ананьина и А. В. Якимова; на Нижнем промысле в тюремном лазарете: Е. И. Россикова и С. Н. Богомолец. Каторжане политические помещались в особой политической тюрьме, в двух верстах от Нижнего промысла. Человек десять политических каторжан находились на Нижнем промысле в так-называемой вольной команде, т.-е. числились каторжанами, получали паек и арестантское платье, но жили на воле в домиках, приобретенных тюремной артелью. Готовую пищу и другие продукты они получали из тюрьмы. Всеми политическими каторжанами заведывал особый жандармский офицер, независимый от местной тюремной администрации, но подчиненный Забайкальскому губернатору и Приамурскому генерал-губернатору, Вместо тюремных надзирателей, в политических тюрьмах дежурили жандармские унтер-офицеры; они же по два раза в день посещали квартиры политических вольнокомандцев. В экономическом отношении мужская политическая тюрьма и вольная команда составляли одну потребительную артель. Получавшиеся от родных деньги составляли общую собственность и шли на улучшение пищи. Исполнительная власть по экономическим делам в тюрьме принадлежала выборному старосте: он же вел переговоры с жандармским офицером и смотрителем по другим текущим тюремным делам. В более важных случаях тюрьма или поручала представительство тому же старосте, или же выбирала особого представителя. Кроме старосты, тюрьма выбирала библиотекаря, на которого возлагалось иногда также заведывание конспиративными делами, т.-е. тайными сношениями с вольной командой и женской тюрьмой. В вольной команде был свой староста, который являлся агентом тюрьмы: получал у жандармского офицера деньги, производил закупки по заказам из тюрьмы, заведывал артельным имуществом: домами, лошадьми, коровами; вольно-командский библиотекарь, кроме своих прямых обязанностей, также заведывал конспирациями: устраивал сношения с тюрьмами и с внешним миром. Женская тюрьма жила в экономическом отношении своей особой жизнью, но благодаря оживленным письменным сношениям, находилась

в близком единении с мужской тюрьмой и вольной командой Таким образом, вся политическая каторга, вместе с добровольно последовавшими женами некоторых каторжан, составляла один большой организм. Администрация знала это и volens-nolens должна была считаться с неприятным для себя обстоятельством. Если бы правительству пришло в голову всех политических каторжан рассовать по одиночке между уголовными, то часть товарищей быстро закончила бы самоубийствами и помешательствами, часть бежала бы и, наконец, более слабые духовно потеряли бы человеческий образ, слившись во многих отношениях с уголовными. Если администрация не производила такого эксперимента, то только потому, что знала, что сибирские тюремщики недобросовестны и невежественны, а уголовные тюрьмы распущены.

Недели через $1^{1}/_{2}$—2 после посещения барона Корфа стало известно, что рассерженный сатрап прислал с дороги приказание отправить Ковальскую в Верхнеудинскую тюрьму и содержать ее там в строгой одиночке. Жандармский офицер, заведывавший политическими тюрьмами, подполковник Масюков явился в тюрьму, где жила Ковальская, на рассвете. Ковальскую взяли прямо с постели, увезли на телеге в пустой казенный дом, где, в присутствии офицеров, чиновников и солдат, долго обыскивали и переодевали во все казенное, причем издевались над ней, потом уложили в лодку и отправили в Стретенск с конвойными. Сожительницы Ковальской по тюрьме в виде протеста объявили голодовку. Известие быстро проникло в мужскую тюрьму и, понятно, всполошило всех. Часть заключенных настаивала на немедленном и резком протесте; а другая часть, соглашаясь, что за подобным возмутительным насилием и надругательством должен последовать резкий протест всех товарищей, находила необходимым предварительно проверить все подробности факта. Известие шло от Ковалевской, Калюжной и Смирницкой, которые видели только, как Ковальскую взяли из тюрьмы. Самое ужасное,—переодевание в присутствии пьяных офицеров, тюремщиков и солдат,—происходило в другом конце селения, следовательно, известно было заключенным с чужих слов. Сходки в тюрьме были очень бурные, но большинство склонялось к необходимости проверить известия.

Если не ошибаюсь, тюремным старостой в то время был Н. В. Яцевич. По крайней мере, мне, вольно-командскому библиотекарю, переписку по этому делу пришлось вести с ним. Разбирая полученную из тюрьмы „почту“, я нашел

объемистое письмо на свое имя. Передавая содержание письма Ковалевской об увозе Ковальской, Яцевич сообщал, что тюрьма поручает мне произвести возможно скорее и тайно от администрации проверку подробностей происшествия. Указывалось, между прочим, лицо, сообщившее в женскую тюрьму все подробности переодевания и увоза Ковальской.

Усть-Кара находилась в 18 верстах от Нижнего промысла при впадении речки Кары в Шилку. Это было сравнительно большое селение, связывавшее Карийский район каторги с внешним миром. Здесь были женские тюрьмы, большие склады и мастерские тюремного ведомства, частные магазины; население состояло из уголовных вольнокомандцев и крестьян. Политические вольнокомандцы могли ездить туда за покупками для тюрьмы с разрешения жандармского офицера. Посоветовавшись со своими сожителями по избушке, вольнокомандским старостой П. Т. Лозяновым и В. Е. Гориновичем, я на другой день отправился на Усть-Кару. Из разговора с лицом, сообщившим в женскую тюрьму о переодевании Ковальской, я узнал, что он присутствовал по обязанности при выносе Ковальской из тюрьмы, провожал некоторое время телегу, в которой ее везли, но затем ему приказано было вернуться к тюрьме; при переодевании и отправке Ковальской он не присутствовал и знает об этом с чужих слов. Разыскал я дом, в котором переодевали Ковальскую, и уголовную каторжанку, которая помогала надзирательнице в переодевании. Дом на берегу Шилки был сравнительно большой, хорошо обставлен и предназначался для проживания приезжего начальства; в нем временно жил, между прочим, и барон Корф со свитой. Нашел я и других свидетелей отдельных эпизодов увоза Ковальской. Из всего этого у меня составилась такая картина. С вечера на Усть-Каре появились подполк. Масюков и комендант, капитан Архипов. Прежде всего они распорядились приготовить к утру лодку и лошадей, которые должны были тянуть ее бечевой вверх по Шилке. Затем они почти всю ночь пьянствовали вместе с уголовным смотрителем Бобровским и сельским старостой Киргизовым. На рассвете у ворот помещения, где содержались Ковалевская, Ковальская, Смирницкая и Калюжная, появилась телега, а затем Масюков, Архипов, Бобровский, Киргизов, несколько жандармов и ночных сторожей (из уголовных арестантов). Дежурному жандарму приказано было без шуму открыть калитку и входную в тюремное помещение дверь. Открыть совсем бес-

шумно две двери не удалось: проснулась Смирницкая и стала кричать. Жандармы, вошедшие уже во дворик, поспешно вышли. Масюков растерялся. Но не растерялись Бобровский и Киргизов. Они вбежали в камеру Ковальской, которая только что проснулась, завернули ее в одеяло и вынесли на улицу. Тюрьму заперли. Ковальскую положили на телегу, приказали двум сторожам держать ее за руки и в таком виде повезли на берег Шилки.

Около пустого казенного дома ждала уже надзирательница и с десяток казаков с ружьями. Ковальскую внесли в очень маленькую комнатку, в которой находились кровать и столик. Здесь был уже приготовлен полный арестантский костюм. Переодевала Ковальскую надзирательница с помощью арестантки и двух сторожей-арестантов, которые держали Ковальскую за руки, застегивали рубаху и т. п. Во время всей этой процедуры Ковальская несколько раз лишалась чувств. К камерке прилегал небольшой коридорчик, а за ним большая комната, в которой находились Масюков, Архипов, Бобровский и ночевавший в этом доме в ожидании парохода, тюремный чиновник Глуховцев. У открытой двери из этой большой комнаты в коридорчик стоял казак с ружьем. Дверь в камерку была открыта, и казаку было видно, что там делалось. Могло быть видно также тем из бывших в большой комнате, кто подходил бы к казаку. По словам сторожей и арестантки, к казаку никто не подходил. Переодетую Ковальскую усадили в лодку и увезли с двумя конвойными, а Масюков с компанией распорядились подать самовар и недопитую за ночь водку.

На Усть-Каре мне пришлось заночевать. Возвращаясь на другой день, я встретил быстро ехавших Масюкова, И. В. Калюжного и Ф. И. Рехневского с жандармами. Очевидно, Масюков, по требованию тюрьмы, решился дать свидание с голодавшими, чтобы упросить их прекратить пока голодовку, так как мужская тюрьма берет на себя требовать удовлетворения за оскорбление товарища. Поделившись с товарищами по вольной команде собранными сведениями, я к вечеру принялся составлять подробный доклад тюрьме, как вдруг в нашей избушке появился жандарм с встревоженным и испуганным видом.

— В тюрьме бунт,—требуют вас и Лозянова,—обратился он ко мне и передал записку.

В записке Н. В. Яцевич просил Лозянова и меня сейчас же придти в квартиру смотрителя. Там нас встретил совершенно расстроенный Масюков.

— В тюрьме бунт,—начал он.—Меня обвиняют в том, что я умышленно переодевал Ковальскую при мужчинах, сам присутствовал при этом, позволял отпускать на ее счет пошлые шуточки... Мне не верят... Я старик уже, наконец, офицер... Тюрьма желает поручить вам следствие надо мной... Что ж, допрашивайте меня, допрашивайте всех... Моя совесть чиста... Сейчас вы увидитесь с Яцевичем и Рехневским... Я ничего против этого не имею... Производите следствие... Я принимал присягу, мне не верят...

Немного погодя пришли из тюрьмы Яцевич и Рехневский.

Яцевич стал нам передавать, что тюрьме известно об увозе Ковальской. Масюков поминутно вмешивался, опровергал некоторые подробности. Мне пришлось то подтверждать его слова, то поправлять его. Между прочим, он настаивал, что не только не присутствовал при переодевании Ковальской, но даже пробыл недолго в большой комнате и вышел на крыльцо. Я подтвердил, что Масюков действительно вышел на крыльцо и, разговаривая с помощником смотрителя, простоял, пока вывели Ковальскую из дома.

— Верно!..—обрадовался Масюков,—вы даже и это знаете.

Я невольно улыбнулся, и у меня как-то вырвалось:

— Да уж если надо разузнать, поверьте, не хуже вас разузнаем.

Дальше разговор сделался общим. Масюков волновался, оправдывался, спорил с Лозяновым и Рехневским, благодаря чему мне удалось передать Яцевичу самое существенное из того, что я узнал на Усть-Каре. В заключение было решено, что на другой день я и Лозянов едем на Усть-Кару и допрашиваем кого нужно, а из тюрьмы опять поедут просить голодающих повременить. Расстались мы с Масюковым очень любезно, но на другой день утром он заговорил с нами в несколько ином тоне. При поразительной ограниченности и бесхарактерности, он понял все-таки, что попал в совсем дурацкое положение. Заведывающему политическими ссыльно-каторжными, жандармскому подполковнику, пришлось перед каторжниками стать в положение обвиняемого, ждать результатов следствия и затем резолюции тюрьмы. Вместе с тем он не мог не сознавать, что тюрьма ставит вопрос серьезно и ни перед чем не остановится. Может выйти крупная история, и ему во всяком случае не сдобровать. Надо заметить, что Масюков,—когда-то богатый помещик и лихой гусар, прокутившийся в пух и прах,—в жандармы попал из отставки буквально из-за куска хлеба и то лишь благодаря чьей-то сильной протекции. До Кары

был начальником железнодорожного жандармского отделения в России и вызвался на Кару ради больших прогонов и подъемных и других льготных условий службы в отдаленной местности. Живя на Каре, вдали от непосредственного начальства, он стал по старой памяти покучивать и поигрывать в картишки. К несчастию, на руках у него были всегда чужие деньги: наши и казенные. Господа карийские офицеры составили даже постоянную компанию для обыгрывания Масюкова.

На другой день Масюков встретил меня и Лозянова очень сухо и, избегая смотреть нам в глаза, стал выражать негодование, что мы вчера поставили его при нижних чинах в унизительное положение, допрашивали его...

— Особенно вы,—обратился он ко мне,—производили мне инквизиторский допрос, старались сбить... Ну, что же, производите следствие надо мной, старым офицером... За свои действия я отвечаю только перед своим начальством...

Мы ушли домой, а немного погодя Лозянов пошел один и заявил Масюкову, что после сказанного им мы отказываемся от поручения, о чем и передадим тюрьме с подробным изложением причин. Масюков встрепенулся, засуетился и стал уверять Лозянова, что он искренно желает, чтобы мы произвели следствие и просит нас сделать это поскорее.

— Снимите с меня, ради Бога, это тяжкое обвинение,—упрашивал он Лозянова.—Я убежден, что вы беспристрастно отнесетесь к делу и не захотите ввести тюрьму в заблуждение.

Вот тут и рассудите! Помню, Лозянов объяснял эти скачки в мыслях Масюкова очень просто. В первое наше посещение Масюков недавно проснулся, еще не завтракал и был под исключительным впечатлением вчерашнего неприятного для него разговора. Потом он позавтракал и принял обычный доклад неглупого, тактичного и не злого по натуре вахмистра Голубцова. Между прочим, в самом начале истории Масюков отказался придти в тюрьму и даже принять у себя на квартире двух представителей из боязни личного оскорбления. Голубцов уговорил его, поручившись на свой страх за безусловную его неприкосновенность. Прослуживши несколько лет при тюрьме сперва обыкновенным жандармом, дежурившим в тюремном коридоре, а потом вахмистром, Голубцов более или менее верно разбирался и в настроении всех заключенных, и в характерах отдельных лиц.

Несколько дней еще мы вели следствие: допрашивали жандармов, надзирательницу, передопрашивали некоторых

спрошенных мною раньше. Предполагая вполне основательно, что жандармам и надзирательнице указано, что говорить и о чем молчать, мы должны были производить оценку их показаний из сопоставления с показаниями других лиц, допрошенных нами без ведома Масюкова. Помню, что в одном случае мы должны были даже устроить очную ставку. Обсудив затем, вместе с В. Е. Гориновичем, все данные, мы пришли к выводу, что факта намеренного издевательства, а тем более надругательства над Ковальской не было. Масюков, исполняя поручение начальства—увезти Ковальскую с Кары,—без всяких разумных оснований скрыл это от Ковальской и ее подруг, допустил смотрителя уголовной тюрьмы распоряжаться захватом и переодеванием Ковальской и, совершенно без всякой надобности, допустил участие мужчин в переодевании. В тюрьму мы отослали все данные, добытые следствием, со своим мотивированным заключением, а официально изложили свое заключение Яцевичу и Рехневскому в присутствии Масюкова. Последний, выслушав наше заключение, заявил, что скрыл он предписание увезти Ковальскую, так как имел основание встретить активное сопротивление со стороны Ковальской и ее подруг; что, может быть, он ошибся в своем опасении и в таком случае сожалеет о происшедшем и готов извиниться перед тюрьмой.

Часть тюрьмы (если не изменяет мне память—большинство) считала, что извинением Масюкова инцидент исчерпывается; другая часть, а с нею вместе и сожительницы Ковальской, настаивали на требовании удаления Масюкова. В конце концов от мужской и женской тюрем поданы были заявления об удалении Масюкова, причем, кажется, указан был и крайний срок. А пока что, вся женская тюрьма отказалась входить в какие-либо сношения с Масюковым и не принимала даже проходившие через руки Масюкова письма и посылки. Масюков сам настоятельно просил, чтобы его перевели куда-нибудь.

Вся эта история, в надлежащем, конечно, освещении, была известна губернатору, генерал-губернатору и в Петербурге; казалось бы, по здравому смыслу, что Масюкова во всяком случае следовало убрать. Но то были времена, когда правительство, похоронив в Шлиссельбурге остатки активных народовольцев, распоясалось во-всю. Убрать Масюкова—значит сделать то, чего желают заключенные, т.-е. уступить им, а „сильное“ правительство не должно уступать никому, а тем более каторжникам.

II.

Заявление заключенных было отправлено по начальству, но жизнь политических каторжан не входила в свою колею. В 4-х верстах от Нижнего промысла, на так-называемой Новой тюрьме, было приспособлено особое здание для женской политической тюрьмы, и всех женщин, кроме Россиковой и Богомолец, скоро перевели туда. Масюков, выждав некоторое время, попробовал посетить новую женскую тюрьму, но его не приняли. Прибыли из Петербурга сперва осужденные по делу Лопатина Н. М. Салова и Г. Н. Добрускина, а затем по делу Оржиха—Н. К. Сигида и Е. Н. Тринидатская. Новые каторжанки также отказались получать письма и посылки. Прибывали и в мужскую тюрьму новые заключенные. На заявление каторжан об удалении Масюкова получен был от начальства резкий отказ. Вместе с тем упорно стали говорить, что политические тюрьмы на Каре будут упразднены, а заключенных переведут в новостроющуюся тюрьму в Акатуевский рудник и поместят там вместе с уголовными, причем жандармы будут упразднены и политические будут во всем сравнены с уголовными. От вновь прибывших товарищей тюрьма узнала об ужасной Якутской бойне.

Настроение в женской тюрьме было очень тяжелое. Отказ убрать Масюкова обрекал всех на лишение переписки на совершенно неопределенное время. Кому приходилось жить в тюрьме и ссылке, тот знает, что невозможность почему-либо сноситься хотя бы письменно с родными и близкими чувствуется сильнее, чем всякие другие лишения. Высшее начальство знало про все это и, конечно, злорадствовало. Нужны какие-нибудь исключительные обстоятельства, чтобы заставить правительство тревожиться даже по поводу голодовок, не говоря уже о таких формах пассивного протеста, как отказ от переписки. Вывести женскую тюрьму из тяжелого положения взяла на себя недавно прибывшая на Кару Надежда Константиновна Сигида. Она решила, что если кто-либо из заключенных нанесет Масюкову личное оскорбление, то последнего непременно уберут. Решение свое она и привела в исполнение. 31 августа 1889 г. она вызвалась под каким-то предлогом к Масюкову и ударила его. В женскую тюрьму она уже не вернулась. Ее увезли на Усть-Кару и поместили там в одиночной камере при женской уголовной тюрьме.

Считаю необходимым сделать здесь небольшое отступление. В дальнейшем изложении я буду руководиться собственной памятью и некоторыми сохранившимися у меня документами. В качестве товарища, заведывавшего в вольной команде сношениями между тюрьмами и вольной командой, я, разумеется, в свое время знал во всех подробностях все, что происходило в тюрьмах. Но минуло уже 16 лет со времени этой ужасной трагедии, и многое стерлось в моей памяти. Не думаю, чтобы в настоящих моих воспоминаниях были грубые ошибки в объяснении причинной связи между отдельными фактами: общий ход всех событий для меня ясен и сейчас. Надеюсь, что оставшиеся в живых свидетельницы (А. П. Корба, П. С. Ивановская, А. В. Якимова, Н. М. Салова и Г. Н. Добрускина) поделятся также своими воспоминаниями.

Я, например, не могу вспомнить, при каких условиях, вслед за Сигидой, сперва Ковалевская, а потом Калюжная и Смирницкая потребовали и добились перевода в Усть-Карийскую женскую уголовную тюрьму. Насколько помню, этому предшествовала голодовка всех заключенных женщин. У меня сохранилась копия следующей записки М. В. Калюжной к смотрителю от 3 сентября 1889 года: „Мы (Ковалевская, Калюжная и Смирницкая) считаем нужным, чтобы начальство имело ясное представление о наших желаниях: считаем нужным предупредить, что если мы трое, как получившие личное оскорбление от г. Масюкова, будем изъяты из-под его ведома и переведены в какую-нибудь тюрьму, то остальная женская тюрьма сочтет себя удовлетворенной, и товарищи обещают там прекратить всякие действия против г. Масюкова при условии, если он не будет являться в тюрьму, в противном же случае мы не ручаемся, что настоящий протест тюрьмы не окончится самым печальным образом для нас всех“.

Ковалевскую перевели раньше других, кажется, потому, что у нее появились признаки острого умопомешательства. На Усть-Каре она отказывалась от пищи. Тюремный врач Гурвич выразил намерение накормить ее насильно, и она ударила его. Ковалевскую, Калюжную и Смирницкую поместили в одну камеру с уголовными арестантками, а Сигиду держали в одиночке в другом здании. Почему-то мне не удавалось сразу завести с ними переписку. Сперва я списался с Сигидой. Заводя сношения с почему-либо отдельно заключенным товарищем, я прежде всего, конечно, снабжал его письменными принадлежностями. Сигида долго, повиди-

мому, мечтала о возможности отправить своим родным письмо. После моей первой записки она очень скоро прислала большое письмо, с просьбой переслать его родным, в Таганрог.

Исполнить поручение Сигиды у меня была возможность, и письмо, несомненно, дошло бы до Таганрога. Но меня останавливало такое соображение. Н. К. родилась и всю свою предыдущую жизнь прожила в Таганроге; там она училась в гимназии, а потом была учительницей городского училища. Арест тайной народовольческой типографии,—хозяйкой которой оказалась Н. К., местная учительница,—наделал в свое время много шума в сравнительно небольшом городе. Бывали случаи, когда письма с Кары, посланные тайно от администрации, даже в больших городах, доставлялись адресату не почтальоном, а околоточным при бумаге. Хотя такие случаи были редки, и большая часть писем проходила благополучно, но, очевидно, в почтовых конторах существовали списки подозрительных фамилий, о которых иногда вспоминали чиновники. Все это я написал Н. К-е. В ответ я получил от нее записку, которую привожу целиком, так так это—последняя, предсмертная ее записка: „Правда, Г. Ф., рискованно посылать письмо с таким адресом, особенно теперь, в виду случившейся со мной истории. Но у меня нет другого адреса. Я думаю подождать некоторое время, пока я получу приговор и пока все это немного утихомирится. Тогда можно будет послать, а теперь положительно невозможно посылать, так как и переписка мне запрещена. Хорошо было бы, если бы пока не отправляли его. Мне необходимо только, чтобы оно *было отправлено*, но *когда*,—это все равно, хоть через несколько месяцев и то не беда. Прошлый раз я поторопилась и не сообщила вам этого. Будете писать, потрудитесь, пожалуйста, написать мне: отправлено ли или нет. Когда вы уезжаете на поселение? Поприветствуйте и пожмите крепко руки всем, всем родным товарищам. Оставайтесь здоровы, всего вам хорошего. Н. Сигида. (Домашние мои—люди очень благонадежные)“.

Скоро установились сношения и с остальными тремя заключенными на Усть-Каре. Переписку со мной вела М. В. Калюжная. Тюремная администрация, в ведение которой попали политические женщины, не знала, как держать себя с ними. Сперва их посадили в общую женскую камеру, потом, по их просьбе, перевели отдельно от уголовных, потом, вероятно, по предписанию свыше, опять поместили в общей.

Заведующий тюремным районом и смотритель обращались с ними прилично. Освободившись от Масюкова и жандармов, они чувствовали себя как бы выпущенными на волю: свободно ходили по двору и даже выходили из тюрьмы с уголовными женщинами, под конвоем, за водой и за дровами. Гуляя как-то по двору, Калюжная в щель между палями увидала, что жандарм прошел в тюремную контору. Калюжная страшно испугалась. Ей представилось, что получено распоряжение возвратить их в ведение Масюкова, и что жандарм пришел с этим известием. Она ушла в камеру, ничего не сказала подругам, весь день провела в тревоге и не выходила из камеры. Потом оказалось, что жандарм приносил какие-то забытые ими вещи. У меня сохранилась следующая, относящаяся к тому времени записка М. В. Калюжной в женскую политическую тюрьму. „Писала я вам маленькие записочки, все пробовала пути, да ничего не вышло. Теперь сношения, кажется, установились, и буду часто писать. Беда только, что настроение не подходящее. Вот уже полторы недели мы живем под страхом: приведут или не приведут в исполнение распоряжение Корфа наказать Сигиду 100 ударами розог. Было несколько дней, когда это казалось несомненным, теперь же можно надеяться, что нет: здешнее начальство завело переписку и считает это опасным; доктор отказывается присутствовать. Мы трое живем вместе, Сигида отдельно. Положение не ахти какое. Наше еще так-сяк, ее же еще хуже: у нее болели сильно зубы, а теперь, очевидно, что-то новое. Она уже не встает. Мы не можем видеть ее. Книг нам не дают. Сначала было позволили покупать бумагу и писать письма, теперь отняли и то, и другое. Все-таки мы успели отправить письма на почтовой бумаге и от своего имени. (Ага!) [1]) Сначала сидели в общей камере с бабами, где мы застали М. П. (Ковалевскую). Изолированию нас много содействовало болезнь ее. Вам, наверно, сообщали, что она опять сходила с ума. Сколько пришлось пережить, знает один Бог. Если увидимся, расскажу. Теперь оставили в отдельной камере на условии, что освещение на наш счет. Говорили, что и дров не будут давать, но пока дают. Мы сами, по собственному желанию, ходим за дровами и за щепой на волю. Я один раз ездила далеко, далеко за водой, т.-е. не ездила, а с бабами везли на себе

---

[1]) Политические ссыльно-каторжные могли писать родным только на бланках открытых писем, в третьем лице, т.-е. от имени жандармского офицера.

бочку. Запирают нас в 5 часов. Ложусь рано и валяюсь в кровати, так как необходимо экономить свет. Что касается денег, так в настоящее время мы имеем всего 1 р. 46 к., когда будем иметь еще, неизвестно. Ковалевской писем не выдают. Вообще есть много хорошего и много дурного. Работа совсем не идет. Начальство у нас прекрасное. Это вы должны принять к сведению, так как скоро вы будете под его началом. Жандармское ведомство на Каре упраздняется. Вашу тюрьму переведут на Усть-Кару, в то здание, где была женская тюрьма до перевода ее. Там всего одна камера. Мы уже ходатайствовали, чтобы сделали две. Туда же, кажется, переведут Россикову и Богомолец и „может быть“ возвратят нас. Пока простите, совсем не настроена писать. Когда придется увидеться, материала будет много“.

Незадолго до получения этой записки, во всех тюрьмах, где содержались политические, и в вольной команде при необычной обстановке, т.-е. под охраной вооруженных солдат и жандармов, было объявлено, что, по распоряжению генерал-губернатора, в виду постоянного непослушания и оскорблений должностных лиц, политические ссыльно-каторжные будут подвергаться телесному наказанию властью коменданта до 50 ударов розгами и властью генерал-губернатора—до 100. В мужской тюрьме большинство сочло это объявление пустой угрозой. Вместе с объявлением этого распоряжения по Каре прошел слух, что пришло предписание наказать Сигиду розгами. По проверке оказалось, что такое предписание действительно пришло, но заведующий тюремным районом, в ведении которого оно находились, донес в тюремное управление (находившееся в Нерчинском заводе), что считает это распоряжение невыполнимым. Между прочим, в предписании было сказано, чтобы Сигида была наказана в присутствии врача, но без предварительного освидетельствования. Врач Гурвич написал областному медицинскому инспектору, что Сигиду он лечил, знает, что она больна, и не должна поэтому быть подвергнута телесному наказанию; кроме того, врач указывал, что по закону он не обязан присутствовать при наказаниях в административном порядке. Медицинский инспектор отправился с этим рапортом к Забайкальскому губернатору Хорошихину. Губернатор, получивший уже известие об отказе заведующего тюремным районом высечь Сигиду, прочитав рапорт Гурвича, вскипел:

— Ваш доктор, должно быть, социалист, если он противится воле генерал-губернатора.

Тем не менее губернатор вновь запросил телеграммой бар. Корфа, который ответил, что воля его непреклонна. Вследствие этого из Читы было предписано послать из тюремного правления чиновника, который исполнил бы волю бар. Корфа без рассуждений. Таким оказался помощник заведующего Нерчинской каторгой Бобровский,—тот самый Бобровский, который в августе 1888 года, будучи смотрителем уголовной тюрьмы на Каре, выхватил Ковальскую из камеры.

Явившись 4 ноября в камеру, где содержалась Сигида, Бобровский, сорвав у ней с лица повязку, произнес: „ничего, выдержит", и велел увести ее в тюремную контору.

Мы, жившие тогда в вольной команде товарищи, имели полную возможность узнать во всех подробностях, как приводилась в исполнение непреклонная воля барона Корфа, но каждый, кто прочтет эти строки, поймет, *почему* мы даже избегали говорить с посторонними об этом ужасном событии. Впоследствии я узнал, что Сигиду не раздевали и что Бобровский и другой тюремный чиновник при начале сечения ушли в другую комнату. Сигиду, бывшую в глубоком обмороке, отнесли в ту камеру, где помещались ее подруги, и сдали им на руки.

Спустя несколько месяцев тюремный чиновник, находившийся в том же здании во время сечения Сигиды, говорил мне, что все почувствовали, что совершилось что-то ужасное. Заведующий тюремным районом нервно бросил неоконченную работу и ушел домой.

Бобровский, обыкновенно большой говорун и циничный хвастун, молча, ни на кого не глядя, прошел через канцелярию и также ушел домой.

Ковалевская, Калюжная и Смирницкая за несколько дней до 4 ноября почему-то опять были переведены в общую женскую камеру и все три заняли отдельный угол. Женские уголовные тюремные камеры всегда шумнее мужских: песни, ссоры из-за пустяков, циничной руганью уснащаются самые мирные разговоры. Подруги уложили Сигиду на нары, поместились подле и стали приводить ее в чувство. Арестантки сразу притихли и во все последующее время вели себя, как будто в камере находился покойник. Детоубийцы, отравительницы мужей, любовников и соперниц, старые бродяжки плакали и ходили по камере на цыпочках. Калюжная попросила помочь ей завесить их угол простыней, и десятки рук бросились помогать.

Вследствие перемещения из камеры в камеру сношения с заключенными на Усть-Каре не удавалось сделать правильными и быстрыми. 5 ноября на Нижнем промысле прошел слух, что на Усть-Каре наказывали политическую, но проверить этот слух не было возможности. Ожидая записок, я не выходил из дому, и товарищи по вольной команде время от времени наведывались ко мне. 6-го вечером, кроме моего тогдашнего сожителя Ф. Я. Давиденко, были у меня В. В. Рехневская, П. Т. Лозянов и Н. Л. Геккер, когда, наконец, я получил почту, состоявшую из короткой записки М. В. Калюжной: „Сигиду высекли, дали 100 розог и перевели в общую“. Принесший записку уголовный дополнил, что Сигида, кажется, уже умерла и что сегодня утром, т.-е. 6 ноября, начальство и доктор с фельдшерами ходили в женскую тюрьму и долго там пробыли.

После ухода принесшего записку, мы не обменялись между собою ни одним словом по поводу известия. Кто-то спросил меня, удастся ли мне завтра же дать знать в мужскую и женскую тюрьмы. Затем, также молча, все ушли. Я стал готовить записки в тюрьмы, потом пробовал читать, но скоро бросил. Спустя некоторое время я услыхал, что на улице несколько человек понукают криком лошадей или быков. Жизнь этого уголка Нижнего промысла, растянувшегося вдоль Кары, была мне хорошо известна. Если кто-либо из соседей ездил за дровами или сеном, то обыкновенно с таким расчетом, чтобы вернуться до наступления сумерек, а между тем было уже темно. Я вышел на улицу. Избушка моя находилась у крутого подъема к тюремному лазарету. С трудом в темноте я разглядел двое больших дровней, запряженных быками. В дровнях виднелась какая-то поклажа, укрытая как будто кошмой. Кроме бычников, виднелись еще двое, в папахах и башлыках. Быки, повидимому, прошли уже порядочный путь, устали и с трудом поднимались на гору. Оставалось предположить, что из Усть-Кары везут для лазарета какие-нибудь вещи или продукты и почему-то запоздали.

Я вернулся в избушку, лег, пробовал читать, но скоро задул свечу и заснул. Спал я не долго и проснулся от сильного стука в ставень. Я вскочил, накинул на себя шубу и открыл дверь. Оказалось, служительница лазарета-арестантка принесла записку от товарища С. Ильяшенко, находившегося тогда в лазарете. „Только что,—писал Ильяшенко,—привезли с Усть-Кары Марусю (Ковалевскую), Калюжную и Смирницкую. Маруся уже без сознания. Они отравились и отказыва-

ются от противоядия. Сигида уже умерла". Арестантка добавила, что Ковалевская, должно быть, уже умерла. Поместили их в отдельной камере, доктор Гурвич и аптекарь Вольпес упрашивали их принять лекарство, но они упорно отказываются. На мгновение у меня мелькнула мысль сейчас же сообщить об этом товарищам. Но я быстро одумался. О какой-либо помощи с нашей стороны несчастным мученицам не могло быть и речи. Прежде всего нас ни в каком случае не впустили бы в лазарет. А если бы и впустили, то вряд ли просьбы товарищей возымели бы действие. При таких условиях, сообщить товарищам новую печальную новость вслед за известной уже было бы непростительной с моей стороны жестокостью, тем еще более, что товарищи условились провести этот вечер у В. В. Рехневской и Н. Д. Люри, которые просили не оставлять их одних...

Возвращения Давиденко домой я не слыхал. Проснулся я опять от нового сильного стука.

— Что такое?—спрашивал проснувшийся Давиденко.

Я наскоро сообщил ему о привозе отравившихся и что, вероятно, принесли опять записку из лазарета. Пока я зажигал свечу и одевался, послышался снаружи тревожный голос Лозянова:

— Гриша, отвори, пожалуйста, поскорее.

Лозянов был неузнаваем: искаженное лицо, наскоро наброшенный пиджак и в опорках на босую ногу. Говорил он, с трудом переводя дыхание:

— Только что ко мне пришел Геккер весь в крови и просил револьвер, чтобы дострелиться. Его револьвер оказался негодным, и он только искалечил себя... Не знаю, что делать... Советуйте что-нибудь...

— Где же Геккер?

— Я оставил его у себя в избушке и убежал к вам.

Мы наскоро оделись и вышли. По дороге зашли к товарищу В. С. Ефремову, разбудили его и решили револьвера не давать и, если состояние Геккера не опасное, то обратиться за медицинской помощью.

В избушке Лозянова Геккера не оказалось: он кое-как дополз обратно в свою избушку. Он был в сознании и пульс почти нормальный. Я и Лозянов отправились на квартиру доктора. С большим трудом мы достучались и добились, чтобы его разбудили. Д-р Гурвич сперва наотрез отказался идти и предлагал отвезти Геккера в лазарет. Только после того, как мы заявили, что не уйдем, пока он не согласится идти к Геккеру, он заявил, что без ведома жандармского

офицера он не может пойти. Тогда мы решили, что я пойду к Масюкову. Я ушел, а Лозянов остался, пока не убедился, что Гурвич одевается и распорядился запрягать.

Дорогой я вспомнил, что в квартире Масюкова в последние дни учреждена была „чрезвычайная“ охрана из жандармов и солдат. Я рисковал потратить много времени на переговоры. Поэтому я направился к квартире жандармского вахмистра Помелова.

Начинало уже рассветать, пока я разбудил вахмистра и, объяснив ему в чем дело,—возвращался обратно.

Спустя полчаса к избушке Геккера прибыли сперва несколько вооруженных жандармов, а затем д-р Гурвич с смотрителем. Рана Геккера оказалась неопасной. Геккер просил, чтобы его отправили в мужскую тюрьму, но Гурвич заявил, что Масюков ни за что на это не согласится и предлагал поместиться в лазарете. Мы уговорили Геккера согласиться на последнее, и Давиденко увез его в лазарет.

На утро я собрал товарищей и заявил, что не считаю себя вправе скрывать от мужской тюрьмы события прошедшей ночи, но не решаюсь сообщить о том же в женскую тюрьму. Представленные мною затем основания были признаны товарищами серьезными, и мы порешили в женскую тюрьму пока не сообщать.

Около 5 часов мне сообщили, что Ковалевская скончалась. Подле Калюжной и Смирницкой дежурили фельдшера и сиделки-арестантки. Когда К. и С. просили пить, им подавали, по инструкции врача, стакан с противоядием, но они отстраняли рукой и произносили шопотом: „Не надо, пожалуйста, не надо“. Часов около 10 вечера Калюжная начала метаться. Смирницкая с помощью сиделки подползла к подруге и стала нежно гладить ее голову, пока Калюжная не скончалась. К утру умерла и Смирницкая.

На другой день к вечеру я получил из мужской тюрьмы записку, из которой узнал, что группа товарищей решила отравиться. Хотя я был отчасти подготовлен к этому, но не в силах уже был овладеть собой, бросился искать Лозянова и застал его с другими товарищами у Н. Д. Люри. Вероятно, своим видом я испугал всех. Лозянов вышел вместе со мной и прочитал записку. Немного погодя вышел еще кто-то и сказал, что Над. Дм. очень встревожена. Мы условились не говорить ей всего и постараться ее успокоить. Удалось это нам только отчасти. Видаясь и переписываясь с мужем, сидевшим в тюрьме, она знала о настроении заключенных. Немного погодя я передал ей записку от мужа. Почти до

утра затем мы сообща составляли и переписывали во многих экземплярах сообщения в разные места о происшествиях последних дней на Каре.

С понятной тревогой ждали мы дальнейших известий из мужской тюрьмы. Мы видели, что тюремная администрация проявляет необычную суету: доктор и фельдшера ездят в тюрьму и обратно. За 9-тилетнее пребывание на Каре у нас завязались и поддерживались близкие, дружеские отношения с многими из сидевших еще в тюрьме.

На другой, кажется, день утром во дворе своей избушки я с В. В. Рехневской пилил чурбаки на поленья, а Давиденко колол их. По дороге к лазарету показался жандарм, при оружии и с разносной книгой в руках. Я заметил, что он как-то тревожно осматривался. Следом за ним медленно двигались наши тюремные дровни, сопровождаемые двумя уголовными арестантами, состоявшими для услуг при нашей тюрьме. В дровнях что-то лежало, прикрытое одеялом. Когда я разглядел все это, то выскочил в ворота, подбежал к дровням и стал открывать одеяло. Арестанты, боясь, должно быть, ответственности, ухватились за одеяло и стали кричать. Подбежал жандарм. Но я уже открыл одеяло и увидал мертвого С. Н. Бобохова. Подбежал Давиденко. Перепуганный жандарм все выкрикивал мою фамилию. Мы с Давиденко прикрыли опять Бобохова одеялом и отошли. Тут только я заметил, что Витольда Викентьевна почти что в обмороке. Все это произошло очень быстро. Мы ввели ее в избушку и, когда она успокоилась, сказали ей, в чем дело. Из троих, бывших во дворе, я только стоял лицом к дороге. Когда я увидал жандарма и дровни, направлявшиеся от нашей тюрьмы к лазарету, я сразу сообразил, что это везут покойника. Желание удостовериться, кого именно из товарищей везут, явилось у меня мгновенно, и я выскочил, не предупредивши В. В. Услышав затем крики и увидав борьбу, В. В. подумала, что я хочу что-то отнять... Немного погодя из лазарета пришли сказать, что на рассвете привезли из тюрьмы И. В. Калюжного. Он еще хрипел и скоро скончался... В мужской тюрьме приняли яд 16 человек, но яд оказался испорченным, и умерли только двое: Бобохов и Калюжный.

Само собою разумеется, между Карой, Читой, Хабаровском (местопребывание барона Корфа) и Петербургом пошел обмен телеграммами. Скоро на Кару понаехало всякое начальство: Иркутский жандармский полковник фон-Плотто, Забайкальский областной прокурор Лазаревский и областной военно-медицинский инспектор Щеглов. С последним при-

ехала А. М. Сухомлина, муж которой находился в тюрьме. Давая разрешение Анне Марковне поехать на Кару, губернатор Хорошихин сказал между прочим: „А всё книги, книги виноваты. Люди сидели взаперти, занимались только чтением: конечно, всякие глупости придут в голову... Если бы занимались физическим трудом, ничего бы этого не было“...

Отравившихся вскрывали и похоронили за тюремным лазаретом, на южном склоне горы, служившем кладбищем для Нижне-Карийского промысла. Говорили тогда, что прокурор Лазаревский хотел самостоятельно начать следствие, но бар. Корф телеграммой приказал ему выехать в Читу.

В декабре на Кару приехал губернатор Хорошихин. Обойдя камеры мужской тюрьмы, он вызвал заключенных в коридор и, отгородившись от них вооруженными жандармами и солдатами, обратился с речью. Прежде всего он сказал, что приехал на Кару случайно: инспектировал казачьи станицы и заехал по дороге. Затем заявил, что правительству дорога жизнь каждого подданного, хотя бы даже и лишенного прав состояния, но правительство не может допустить, чтобы его агенты оскорблялись безнаказанно... В наказании Сигиды не участвовала личная воля губернатора и генерал-губернатора... Правительство не намерено без серьезных оснований прибегать к такой мере, как телесное наказание. Содержание этой речи передавал мне Н. В. Яцевич, выпущенный в январе 1890 года из тюрьмы в вольную команду.

В августе 1890 г. кончился срок моего пребывания в каторжных работах, и я отправлен был по этапу с партией уголовных на поселенив в Якутскую область. Между Нерчинском и Читою на дороге я увидел мельком Е. Н. Ковальскую, которую везли под конвоем на тройке из Верхнеудинской тюрьмы в Нерчинские рудники...

III.

В моем распоряжении имеются некоторые материалы для биографии несчастных карийских мучениц.

Надежда Константиновна *Сигида*, в девичестве Малоксиано, родилась в Таганроге в 1863 г., умерла 26-ти лет. Отец зани-

мался торговлей. Семья, кроме родителей, состояла из двух сыновей и четырех дочерей. Образование Н. К. получила в местной гимназии. Когда Н. К. была в старших классах, отец разорился, и по окончании курса ей пришлось своим трудом содержать всю семью. Частные уроки и занятия в городской школе поглощали все время, не оставляя ни малейшего досуга. В 1884 или 1885 году она обвенчалась с служившим в местном окружном суде Сигидой, продолжая учительствовать в содержать всю семью. В конце 1885 года в Таганроге устроена была тайная типография, хозяйкой которой состояла Н. К. В самом начале 1886 года типографию арестовали. Н. К. содержалась сначала в местной тюрьме, а затем в Петропавловской крепости и в Доме предварительного заключения. После ареста Н. К., семья ее пришла в крайне бедственное состояние. Отец захворал и был помещен в городскую больницу, младшего брата взяли из гимназии. Отец Н. К. умер, о чем она скоро узнала. Смерть отца произвела на нее очень сильное впечатление; по ночам из ее камеры в Доме предварительного заключения слышались страшные истерические рыдания. В конце 1887 г. Н. К. была присуждена к 8 годам каторжных работ. Мужа ее, вместе с другими осужденными, увезли в Харьковскую централку для отправки затем на Сахалин, а Н. К. вместе с Е. Н. Тринидатской—на Кару. В момент прибытия в женскую политическую тюрьму она получила известие о смерти мужа в Харьковской централке.

Выше я упоминал, что Н. К. незадолго до своей смерти прислала мне письмо к своим родным. Отправить его по почте я считал неудобным и хранил у себя. После ее смерти, я был озабочен вполне понятным желанием во что бы то ни стало доставить письмо по адресу. Я обратился за советом в женскую тюрьму, и заключенные уполномочили меня вскрыть это письмо и на всякий случай снять с него копию. На подлинном письме я вкратце изложил печальную историю ее пребывания на Каре. Сделал я это, имея в виду, что рано или поздно ее братья и сестры узнают по слухам и, по обыкновению,—в более ужасном виде. Считаю себя вправе огласить теперь это письмо:

„*Надя, Ваня, Люба, Катя*, словом, кто будет читать это письмо, прочтите только одну страничку маманям, *дальше будет правда, которую лучше от них скрыть*. Дорогие родные мои. Успокойтесь, не печальтесь, не мучьтесь: я совершенно здорова и бодра: если не писала вам, то потому, что

все это время переписка нам была запрещена, да и не знаю, скоро ли и надолго ли будет разрешена; словом, тысячу раз повторяю, будьте покойны, если и не будете получать долгое время от меня никаких известий, ведь здесь может быть в один месяц тысяча перемен: могут вдруг запретить переписку, а потом через некоторое время опять разрешить, как это и бывало несколько раз здесь на Каре. Помните, дорогие родные мои, что у меня много, много сил и бодрости, что я живу глубокою верою и надеждою обнять вас всех, всех дорогих моих, да испросить прощения за все муки и боли, какие я нанесла вам невольно. Голубочку мамочку умоляю простить, простить все, все мне. Целую тебя, родную, не плачь, родная: я бодрая, крепко бодрая. Оставайтесь с Богом все здоровы и бодры по-моему. На следующем листе кто будет читать, выдумайте мамане, так как там пишу правду.

„Дорогие мои сестры: Катичка, Любочка и неоцененные добрые, честные деточки мои Ванюшечка, Лекончик, Надя и другой Ванюша с Гришей, пишу вам правду, что это время было со мною: знаю, мои дорогие, что хоть и жаль вам будет меня, хоть и поплачете, но зато же приободритесь и возрадуетесь за меня, за мою глубокую веру и преданность святой правде и добру. Вы и сами должны были ожидать, что не сойду я с того пути, на какой стала, что распрощусь, если надо будет, даже навеки и с волей, и с вами, родными, дорогими, знаю, что своею твердостью, бодростью, выносливостью поддержу в вас и силы, и бодрость, и великую глубокую веру в святую правду и добро; горько вам будет минутами за меня, горько, правда, я это знаю, так же горько, как и мне бывает минутами горько, больно за вас, за вас, моих сироточек бедненьких; но ведь это только временами, а зато какая бодрость, какая сила, какая вера и надежда на все святое, доброе будет вечно у вас при воспоминании обо мне. Верю в это, и пишу вам правду: сейчас я, родные мои, нахожусь в неизвестности, но думаю, во всяком случае, что срок каторги будет увеличен, или, если не увеличен, то не буду выпущена в „вольную команду“, а просижу все восемь лет в тюрьме, а тогда уже поеду на поселение. В „вольную команду“—это значит не буду выпущена из тюрьмы по окончании трети моего срока, т.-е. после двух лет и четырех месяцев от утверждения приговора, жить на воле вблизи тюрьмы и пользоваться совершенной свободой. Я, значит, должна была бы жить уже не в тюрьме, а на воле с мая

месяца, так как приговор был утвержден в январе. Теперь уже наверно знаю, что этого не будет: что же именно меня ждет, не знаю. Во всяком случае я ко всему готова, и вы надейтесь на мои силы, что все, все снесу бодро, и не беспокойтесь, если не будете получать от меня писем, это значит переписка запрещена, но я жива, здорова, бодрая, живу любовью к святому делу, верою, надеждой на счастливое, хоть и не скорое будущее; не смущаюсь, если даже мне его и не придется дождаться, довольно для меня глубокой веры в будущее; довольно, родные мои, чтобы выдержать все невзгоды, чтобы жить этим будущим, переноситься в счастье и земной рай тех счастливцев, которые будут жить полные добра, мира и любви, а это будет, наверное, будет; при мыслях об этом я все, все забываю: горечь, боль и мрак настоящего; за мраком и горечью я все-таки вижу свет и отраду и не падаю духом. Не падайте же и вы, родные, никогда духом, верьте в силу человеческой души и боритесь бодро, бодро, неустанно со всеми невзгодами и мрачными, дикими силами. Поборите, родные, их; не удастся, может, вам добить их, а все же надломить — надломите их: верьте только в победу великих сил и будете вечно счастливы. Много, много я бы еще говорила, да не время, когда-нибудь другой раз, а теперь скажу, что я за оскорбление одной из товарок (какое именно оскорбление — после, если удастся, напишу подробно), какое нанес ей комендант, при разговоре с ним дала ему пощечину, за что перевезена в другую тюрьму и посажена в секретную, что дальше будет, не знаю пока. Во всяком случае я бодрая и очень, очень довольна, что теперь я могу еще и на деле показать вам, что значило мое прошение о помиловании, которое, быть может, могло вас омрачить [1]), хотя и уверена, что вы хорошо знали меня и Акима и поняли нас: догадались о мотивах, которые руководили нами, но все же мне еще и тогда хотелось вам ска-

---

[1]) Н. К. Сигида по суду была приговорена к смертной казни. Ее и некоторых других участников ее процесса уговорили подать прошение о помиловании. Н. К. не придавала значения этой подаче прошения, считая тогда ее за простую формальность. Впоследствии она всю жизнь глубоко мучилась воспоминанием об этом своем шаге. Ее товарищам стоило всегда огромных усилий хоть несколько успокоить ее, но и самые теплые отношения к Н. К. со стороны всех окружавших ее товарищей никогда не изгладили из ее памяти о поданном ею прошении о помиловании, о котором она вспоминает и в этом предсмертном письме.

зать, как я глубоко верю в то дело, за которое многого, многого лишилась и многое, многое перенесла бодро, не говоря уже о том довольстве, что своею пощечиною я отомстила оскорбление, дала знать, что расправляться и оскорблять нас мы не допустим. Будьте же, деточки мои, Ванюшечка, Лелечка, Надя, бодры, любите, родные мои, всею душою всех, всех людей, любите правду, любите добро помните и следуйте, голуби мои, всем, всем моим советам и будете вы счастливы, и будет хорошо. Не знаю, скоро ли получите это письмо, но когда получите, то напишите мне так: „Твоего письма маме прочитали страничку, а то все сами". Это будет мне доказательством, что вы говорите об этом письме. Пока будьте же бодры, любите друг друга и не забывайте меня. Крепко, крепко всех обнимаю и горячо целую".

Мария Павловна *Ковалевская*, в девичестве Воронцова, родилась в августе 1849 г., в Екатеринославской губ., в имении своего отца, помещика средней руки. Семья состояла из четырех сестер и одного брата (известный экономист В. В.). М. П. была младшей и очень рано лишилась матери. Сверстниками и друзьями ее детства были брат и сестра Лидия Павловна Топоркова. Десяти лет М. П. вместе с сестрой Лидией была отдана в Одесский институт, где и оставалась до окончания курса. Жила некоторое время в своей деревне, а потом в Харькове у тетки. 18-ти лет вышла замуж за Ник. Вас. Ковалевского, учителя гимназии в Курске, а затем в Киеве. У М. П. было трое детей, из которых в живых осталась дочь Анна Николаевна. В 70-х годах сестра М. П. привлекалась по делу 193-х, и арест ее вызвал обыск у М. П. По рассказам М. П., в это время она была еще далека от революционного движения и только искала людей, которые познакомили бы ее с стремлениями революционеров. В феврале 1879 г. мы ее видим уже среди арестованных в Киеве за вооруженное сопротивление. Осуждена была в каторжные работы на 14 лет 10 месяцев, вместе с Н. А. Армфельд, В. Дебагорием-Мокриевичем, Р. А. Стеблин-Каменским, Брандтнером и др.

Надежда Семеновна *Смирницкая* родилась в 1851 или 1852 году в Киевской губ., в семье священника. В раннем детстве лишилась отца и вместе с старшей сестрой воспитывалась у дедушки—протоиерея в одном из уездных городов Киевской г. В 70-х годах Н. С. встречали в Киеве в народнических кружках молодежи. В 1879 году Н. С. была выслана админи-

стративно, в Вологодскую губ., откуда бежала в 1880 г. с Ив. Вас. Калюжным, Андр. Афан. Франжоли, Завадской и Вл. Серпинским. После побега, вместе с И. В. Калюжным, поселилась в деревне, в Донской области, с целями революционной пропаганды. Затем переехала в Москву, где и была арестована в 1882 году по народовольческому делу. В 1883 г. по процессу 17-ти присуждена к 15 годам каторги. По натуре Н. С. была крайне застенчива, замкнута и необщительна.

Мария Васильевна *Калюжная* родилась в 1864 г. в г. Лебедине Харьковской губ., в богатой мещанской семье. Позднее семья переехала в г. Ахтырку той же губернии, где М. В. и провела свое детство. Отец занимался казенными подрядами, был женат два раза и имел большую семью: трех сыновей от первого брака и двух сыновей и трех дочерей от второго. Мария Вас. и Ив. Вас. от второго брака. Мать их—дворянка, дочь офицера. Отец сильно пил, разорился и скоро умер. Училась М. В. в Харьковской гимназии на средства брата Ивана. После высылки Ив. В. в Вологодскую губ. у М. В., бывшей уже тогда в высших классах, вышла какая-то история с гимназическим начальством и она была исключена. Недолгое затем время была в гимназии в Ромнах (Полтавской губ.), но курса не окончила. В конце 1882 или начале 1883 г. в Одессе устроена была Дегаевым тайная народовольческая типография и М. В. вошла туда в роли кухарки. Типография просуществовала недолго. После ареста типографии М. В. увезли в Петербург и держали 6 или 7 месяцев в Петропавловской крепости. Потом ее выслали к матери в Ахтырку, откуда она скоро скрылась и приехала в Одессу.

Мария Васильевна была одной из жертв Дегаева. Чтобы замаскировать предательство Дегаева, жандармы намеренно распустили слух, что М. В. дала обширные показания, приведшие к аресту многих. Узнала об этом М. В. очень поздно и стреляла в главного виновника этой клеветы—жандармского полковника Кашанского. За покушение на его жизнь она была присуждена к 20-летней каторге. Одна из подруг ее по Каре, сообщая приведенные выше краткие биографические сведения, закончила: „Судьба Маши с начала и до конца в высшей степени печальна. В ее жизни вряд ли найдется много светлых точек. Кара ее доканала. Если она смогла прожить здесь 3 года, то только благодаря сильной привязанности к брату и Смирницкой и своей исключительной

способности заниматься при всяких условиях, лишь бы был отдельный угол. История и языки—ее любимые предметы. Языками (франц., нем. и англ.) стала заниматься только на Каре, изучала их грамматически и знала уже довольно основательно, М. В. обладала прекрасным сценическим голосом, который здесь, особенно в последний год, портился с удивительной быстротой. Ослабление памяти, на которое М. В. часто жаловалась, и видимый упадок голоса действовали на нее крайне тяжело".

КАРИЙСКИЕ СОБЫТИЯ.

По официальным данным В. Петровского.

I.

Протест на Каре стоил жизни шести пылким революционерам. Сохранившееся в архиве б. департамента полиции дело об этом протесте носит скромное заглавие—„О беспорядках в Карийской каторжной тюрьме по поводу введения телесного наказания“. (Дело деп. пол., V делопроизводства, 1889 года, № 7961, на 67 листах).

Главные действующие лица в этом деле о беспорядках— 1) Приамурский генерал-губернатор, генерал-адъютант, генерал от инфантерии барон Андрей Николаевич Корф, царь и бог Дальнего Востока, в официальных историях известен, как инициатор мер, способствовавших развитию края (просвещение инородцев, охрана котиковых промыслов и т. д.), и 2—3) два Дурново, державшие в своих цепких руках всю Россию,—Иван Николаевич с 9 мая 1889 года министр внутренних дел, заменивший на этом посту графа Дмитрия Толстого, и Петр Николаевич, директор департамента полиции, назначенный на эту должность в 1884 году.

Дело открывается любопытнейшей запиской „для памяти“. Четким убористым почерком директора департамента полиции П. Н. Дурново записано: „прошу по окончании событий на Каре напомнить мне, что следует зачинщиков перевести в Шлиссельбург“. На этой же записке сохранились следы исполнения воли г. директора. Заведующий делопроизводством надписал: „Доложено г. директору 14 апреля 1890 г. и приказано: за смертью главных виновных никого в Шлиссельбург не переводить“. Из этой маленькой записи для памяти видно все умонастроение, все направление мыслей

П. Н. Дурново: процесс выяснения обстоятельств был для него заранее обречен на полную бесплодность и ненужность. Что бы там ни выяснилось, а зачинщиков надо перевесть в Шлюшин—как бы этого не забыть! Вот и все.

20 сентября 1889 года в департаменте полиции была получена шифрованная телеграмма из Владивостока от барона Корфа. Эта телеграмма сразу вводит нас в сущность событий: „Забайкальский губернатор сообщает мне запрос министерства, по вопросу, какому наказанию и по чьему распоряжению подвергается каторжная Сигида за оскорбление подполковника Масюкова. Из ответа губернатора видно, что он полагает достаточным наказать Сигиду ста ударами розог. — Не предрешая вопроса, прошу уведомить: признаете ли вы возможным ограничиться таким наказанием, или же передать дело военно-полевому суду. С своей стороны полагал бы, несмотря на совершенную неукротимость политических преступниц, пока, не прибегая к суду, испытать еще неприменявшееся телесное наказание, но обойтись без него признаю совершенно невозможным".

Барон Корф, много сделавший для поднятия благосостояния вверенного ему края, безудержно стремился к учинению телесных наказаний над ссыльно-каторжными революционерами. Для департамента полиции и петербургских властей вопрос о применении телесных наказаний к политикам имел свою историю, которая и была изложена в следующей справке:

„По сведениям департамента полиции, случаев применения к государственным преступникам телесного наказания в пределах Восточной и Западной Сибири не было. Присуждены были к сему наказанию следующие лица:

„1) Ссыльно-поселенка Ольга Любатович, по приговору Тобольского губернского суда от 16 июля 1879 г., за оскорбление помощника исправника, была присуждена к 22 ударам плетьми. За последовавшим побегом Любатович это наказание не было приведено в исполнение. По задержании же названная преступница, по высочайшему повелению, 17 ноября 1882 года, была отправлена в Восточную Сибирь, для поступления с нею на основании существующих узаконений, как с лицом, лишенным всех прав состояния и бежавшим из Сибири, но без применения к ней телесного наказания, коему она может подлежать по правилам Устава о ссыльных, а также с освобождением ее и от наказания плетьми, определенного ей приговором Тобольского губернского суда.

„2) Ссыльно-поселенец Виктор Данилов, за оскорбление ча-

сового, по определению Иркутского городского полицейского управления от 26 марта 1886 г., присужден к временной заводской работе на 6 месяцев, но, при отправлении в Иркутск для отбывания этого наказания, бежал и задержан в октябре 1886 г. Высочайшим повелением 11 марта 1887 г. определено: Данилова, по отбытии им вышеупомянутого наказания за оскорбление часового, водворить в отдаленнейших местностях Якутской области с тем, чтобы он не был подвергаем ответственности по ст. 808 Уст. о ссыльн., т. XIV Св. зак. (наказание плетьми), за побег из места ссылки.

„3) Ссыльно-каторжный Павел Иванов, за два побега во время следования на Кару, из Красноярского тюремного замка, со взломом печи, и за имение у себя указа об отставке на чужое имя, по приговору Енисейского губернского суда в июле 1883 г., присужден к увеличению срока работ на 13½ лет, с содержанием в разряде испытуемых в течение 7 лет и к 90 ударам плетей. Енисейский губернатор телесное наказание отменил с тем, чтобы срок работ Иванову был увеличен на 15 лет.

„Исключение представляют государственные преступники, водворенные на острове Сахалине: из донесения начальника острова от 17 сентября 1888 г. за № 5184 видно, что ссыльно-каторжные: Вольнов, Мейснер и Томашевский, за дерзкое поведение, наказаны розгами: первый — 40 ударами, а остальные двое — 30-ю ударами.

„В июне 1887 г. главное тюремное управление препроводило на заключение департамента полиции ходатайство Приамурского генерал-губернатора о предоставлении местному начальству права, в силу ст. 806 и 839 Уст. о ссыльн., подвергать телесному наказанию дисциплинарным порядком ссыльно-каторжных государственных преступников в Карийской тюрьме, из непривилегированного звания, за проступки, означенные в сих статьях.

„Департамент сообщил главному тюремному управлению, что если, с формальной стороны, введение этой меры и представляется совершенно законным, то с практической стороны — и нежелательно, и неудобно, ибо существующее в тюрьме полное спокойствие само собою устраняет необходимость принятия ее, в особенности при существовании других дисциплинарных мер, не без пользы практикуемых. С другой стороны, введение телесного наказания неминуемо вызвало бы озлобление со стороны преступников, а следовательно, и беспорядки. По этим основаниям, департамент полагал ходатайство барона Корфа отклонить.

„Получив об этом уведомление от товарища министра внутренних дел князя Гагарина (по тюремному управлению), генерал-губернатор 30 сентября 1887 г. за № 487 вновь обратился в министерство с представлением, в котором сообщил, что существующий порядок в Карийской тюрьме сохранялся исключительно благодаря сделанному самим бароном Корфом в 1885 г. предупреждению, что, при малейшем нарушении спокойствия в тюрьме, виновные будут подвергнуты телесному наказанию. Поэтому барон Корф вторично просил разрешить ему принимать эту меру в тех случаях, когда то будет признано необходимым и когда телесное наказание, как крайняя мера, одно только будет в состоянии восстановить нарушенный порядок в тюрьме.

„В отзыве своем от 23 января 1888 г. г. товарищ министра, заведующий полициею, уведомил генерал-губернатора, что он признает употребление телесного наказания для поддержания порядка в Карийской тюрьме, в необходимых случаях, вполне законным".

Эта справка убедила обоих Дурново в необходимости пойти, наконец, навстречу генерал-адъютанту Корфу в его безудержном желании. П. Н. Дурново-директор набросал следующий текст телеграммы от имени И. Н. Дурново - министра, на имя барона Корфа: „Не встречаю препятствий к наказанию Надежды Сигиды розгами, при условии медицинского удостоверения о безвредности этого наказания для ее здоровья. Имейте в виду, что мера эта может вызвать волнение и беспорядки среди каторжных мужчин". Чрезвычайно любопытно отметить, что в тексте телеграммы, которая была действительно отправлена, фраза о необходимости медицинского удостоверения была исключена. Барон Корф получил телеграмму в следующей редакции: „Не встречаю препятствий к предположенному вами наказанию Надежды Сигиды. Имея в виду, что наказание это может вызвать волнение и беспорядки среди каторжных мужчин, не признаете ли нужным принять предупредительные меры. Министр внутренних дел Дурново".

Результаты экзекуции, произведенной по приказу военного губернатора Хорошихина и по требованию Приамурского генерал-губернатора с ведома и одобрения обоих Дурново—директора и министра, известны.

В 12 час. 20 мин. ночи на 13 ноября в департаменте полиции была получена следующая шифрованная телеграмма из Нижнего промысла от жандармского офицера подполковника Масюкова: „Приамурский генерал-губернатор по-

становил наказать ста ударами розог переведенную в уголовную тюрьму государственную преступницу Сигиду за нанесенное мне оскорбление действием. Постановление приведено в исполнение 7 ноября уголовным начальством, десятого Сигида отравилась и умерла; содержащиеся вместе с Сигидой в уголовной тюрьме Ковалевская, Смирницкая и Калюжная отравились 11-го, умерли в лазарете. Преступники в вольной команде узнали об этом, волнуются. Преступник Геккер 11-го покушался на самоубийство, легко ранен, помещен в лазарет. В государственной тюрьме не знают, принимаю все меры спокойствию".

Директор Дурново положил следующие пометки на этой телеграмме: „1) Г. министру доложено. 2) Составить всеподданнейшую записку (как можно раньше) с указанием, за что осуждены умершие женщины. 3) Доложить г. товарищу министра".

13 ноября в Петербурге была получена и шифрованная телеграмма из Читы от начальника губ. жанд. упр. полковника фон-Плотто на имя командира отд. корп. жандармов и одинакового содержания на имя департамента полиции: „Проездом в Чите осведомился о полученных губернатором донесениях, что наказанная розгами, за оскорбление подполковника Масюкова, Сигида умерла. Остальные, выделенные из политической в Карийскую уголовную тюрьму: Ковалевская, Калюжная и Смирницкая заболели, врач полагает, отравление. Вольной команды преступник Геккер, покушаясь на самоубийство, легко ранил себя. Представляется необходимым скорейшая передача политической тюрьмы в тюремное ведомство. Следую Кару, по предписанию начальника округа, исполнить требование генерала Оноприенко по дознанию о Вольпе".

Департамент полиции реагировал на телеграфные сообщения срочной телеграммой, посланной 3 ноября от имени товарища министра (за министра) ген. Шебеко в Читу военному губернатору Хорошихину: „В виду происшествия на Каре прошу ваше превосходительство принять все законные меры к сохранению порядка в государственной тюрьме, не делая никаких уступок и послаблений против существующих правил. Благоволите уведомить, откуда и какой преступницы достали яд".

Военный губернатор 14 ноября телеграфировал из Читы на имя товарища министра ген.-лейт. Шебеко: „Вскрытие трупа умершей преступницы не обнаружило пока ничего, внутренности высланы сюда. На Кару выехал полковник Плотто, областной прокурор и начальник каторги. Едва ли удастся что-либо выяснить относительно яда, если таковой был".

На телеграмме пометка П. Н. Дурново: „во всеподданной записке министр приказал упомянуть обо всех трех депешах и присовокупить, что затребованы сведения“.

Департамент полиции во главе с П. Н. Дурново и И. Н. Дурново никак не могли понять двух ясных и простых обстоятельств: почему „заболели“ и умерли преступницы после наказания розгами Сигиды и откуда они достали яд.

14 ноября в Читу военному губернатору летит новая срочная телеграмма за подписью министра: „Прошу ваше превосходительство немедленно и подробно сообщить возможно точные сведения о причинах смерти четырех преступниц, и если эти причины еще не выяснены, то принять все меры к точному их определению“.

Оба Дурново остались верны себе и не вышли за пределы чисто академического, даже прямо схоластического отношения к ужасному делу о четырех женских смертях. У барона Корфа отношение было куда нервнее! 14 ноября он отправил в Петербург следующую в высшей степени примечательную телеграмму: „Официально, пока не имею всех данных, донести не могу, но, опасаясь, что до вас дойдут искаженные слухи, сообщаю: государственная преступница Сигида, ударившая, как вам известно, полковника Масюкова и, с согласия министерства, наказанная розгами 6 ноября, умерла 11-го. Причина смерти пока достоверно неизвестна, доктор полагает отравление; но, во всяком случае, думаю, смерть — вследствие наказания, если не непосредственно от ударов, то от нравственного впечатления. Вы знаете, я не жестокий человек, но если бы опять такой случай, и я, даже зная вперед вероятный исход наказания, все-таки применил бы его: до того убежден в необходимости прекратить безобразия политической тюрьмы: и то уже позорно, что мы довели до побоев преступниками начальников. Терпеть далее такую распущенность, какая установилась в тюрьме этих извергов и цареубийц, вследствие мягкосердия Петербурга, считаю, видя дело на месте, противным присяге. Я хорошо понимаю, что подвергаюсь нареканию очень многих в Петербурге, и многому другому, но должен исполнить свято обязанности“.

Вот оно куда метнуло: наказание женщины розгами было укрыто в тени присяги. Мягкосердого Дурново этот генерал-адъютантский вопль так поразил, что телеграмму барона Корфа они сложили в сердце своем, и П. Н. Дурново - директор пометил: „к сведению: в делопроизводство не сда-

вать“. Очевидно, по их мнению, даже департаментским чиновникам неприлично было знать о таких откровенных мнениях генерал-губернатора.

II.

16 ноября жандармский подполковник Масюков телеграфировал в департамент полиции о событиях в мужской каторжной тюрьме: „Вследствие объявления государственным преступникам инструкции, преподанной Приамурским генерал-губернатором о применении к ним телесного наказания, сегодня семь преступников тюрьмы отравились, — двое безнадежно: — заявили мне, что, покуда не уничтожат инструкцию о применении к ним телесного наказания, они будут продолжать беспорядки, другая причина неизвестна. Телеграммой 12 ноября, — наказание Сигиды по постановлению не генерал-губернатора, а военного губернатора“.

П. Н. Дурново-директор представил 16 ноября собственноручную докладную записку И. Н. Дурново-министру следующего содержания: „Сегодня подполковник Масюков телеграфирует, что, по объявлении государственным преступникам в Карийской тюрьме преподанной генерал-губернатором инструкции о применении к ним телесного наказания, семь человек отравились, из них два безнадежны. Преступники заявили г. Масюкову, что будут продолжать беспорядки (никаких сведений о беспорядках не поступало), пока не отменят инструкции. Докладывая об изложенном вашему высокопревосходительству, имею честь присовокупить, что я полагал бы лучше повременить представлением всеподданнейшей записки к этому случаю, впредь до получения более обстоятельных донесений. С нашей стороны, казалось бы, никаких распоряжений не требуется“.

И. Н. Дурново-министр на полях против первой половины записки надписал: „Отмена ни в каком случае не может быть допущена“, а на вторую половину отозвался следующей надписью: „Хорошо. Я такого же мнения, полагая, что и без ваших указаний инструкция не будет отменена“.

Курс был принят определенный и твердый. А в ответ Масюкову департамент полиции отправил в Усть-Кару телеграмму: „Телеграфируйте, откуда преступники могли достать яд, извещайте подробно по телеграфу о всем, что случится, живы ли семь человек, принявших яд“.

О судьбе отравившихся карийцев департамент полиции был осведомлен телеграммой из Читы от военного губер-

натора Хорошихина от 17 ноября: „Подполковник Масюков доносит, что отравились: Калюжный, Бобохов, Кон, Иванов, Санковский, Диковский, Левченко, — первые два сегодня умерли, остальные подают надежду к выздоровлению. Предложенное мною выделение, пока не улеглись страсти, подполковник Масюков и заведывающий каторгой признают неудобным. Разрешаю пока не исполнять“. В тот же день департамент получил и телеграфное донесение Масюкова, ничего не прибавившее к сообщению Хорошихина.

В дополнение к своей телеграмме, удовлетворяя требование департамента, подполковник Масюков 18 ноября телеграфировал снова: „Каким ядом отравились, не выяснилось: надо предполагать, что тюрьма, не имевшая особого лазарета, пользовалась лекарствами врача по рецептам, и, по всему вероятию, послужило ядом какое-нибудь лекарство, употребленное в неопределенной дозе“. И, наконец, 25-го ноября Масюков телеграфировал новые данные: „По произведенному мною дознанию, оказалось, что преступники отравились морфием, хранящимся в тюрьме, после побега, в 1882 году, тщательно спрятавши его, но где хранили яд, не объяснили. Подробности доношу почтой“.

Почтой Масюков отправил два донесения. Одно содержало результаты дознания о покушении на самоубийство Геккера, другое излагало результаты расследования дела о самоотравлении семи карийцев.

В первом донесении, отправленном с Нижней Кары 29-го ноября и полученном в Петербурге 23-го января 1890 года, Масюков доводил до сведения департамента полиции, что „им было произведено дознание по поводу покушения на самоубийство из револьвера 11 ноября проживающего в вольной команде государственного преступника Наума Геккера. При дознании Геккера, им были ему предложены вопросы: 1) что побудило его покуситься на самоубийство и во 2) от кого он достал револьвер и пули. На первый вопрос Геккер показал, что желание покончить самоубийством вызвано было телесным наказанием, примененным к государственной преступнице Сигиде; он, Геккер, считал жизнь после случившегося наказания для себя невыносимой, вследствие чего и хотел покончить с собою самоубийством. На 2-й вопрос, от кого он достал револьвер и пули, Геккер дать показание отказался“.

Во втором донесении, отправленном 26 ноября и полученном в Петербурге тоже 23 января, Масюков сообщил:

„24 ноября мною было произведено дознание, по случаю принятия яда 15 сего ноября 7-ью преступниками (из числа которых 16 ноября Иван Калюжный и Сергей Бобохов умерли), остальные пять государственных преступников, а именно: Сергей Диковский, Павел Иванов, Феликс Кон, Никита Левченко и Николай Санковский, опрошены, каждый отдельно, на предложенные мною вопросы: во 1) что побудило их принять яд, 2) каким ядом они отравились и 3) где они достали яду, показали следующее: 1) побудило их принять яд вследствие той причины, что на каторге они согласились переносить над своей личностью известного рода насилия и даже до известной степени унижение. Они знали, конечно, что их, как ссыльно-каторжных, могут подвергнуть и телесному наказанию и тогда же еще в России решили, что если им будет грозить применение телесного наказания, и они подвергнутся ему, то в обоих случаях ответом на такую меру с их стороны будет смерть. Прибыв на каторгу, они узнали от своих товарищей, что им заведывающим Карийскими промыслами дано было знать (косвенно, конечно), что меры телесного наказания не будут применяться к государственным преступникам и, действительно, все приговоры к телесному наказанию за побеги всегда были отменяемы высшей инстанцией. В 1882 году, после 11 мая, когда одного из преступников, Овчинникова, вызвали для освидетельствования его врачем, и, кажется, имели намерение подвергнуть его телесному наказанию, то вся тюрьма начала голодать и голодали 12 дней. В это время им тоже косвенно было дано знать, что эта мера наказания не будет к ним применяться, а после освидетельствования преступника Овчинникова было им объявлено, что его хотели отправить на Сахалин, вследствие чего и освидетельствовали. В прошлом октябре настоящего 1889 года, была им прочтена инструкция Приамурского генерал-губернатора, где, среди других ужасных мер, им было категорически заявлено, что отныне к ним будет применяться телесное наказание. После такого категорического заявления со стороны высшей администрации, им оставалось одно—умереть. Наказание и смерть преступницы Сигиды ускорили только осуществление их намерения. 2) Смерть они избрали отравлением морфием, препараты которого от долгого хранения, вероятно, попортились, так как некоторые из преступников приняли его более 5-ти грамм, а доза эта, при хороших препаратах, действует и быстро и верно, и 3) морфий, по заявлению их, был приобретен тюрьмою после 11 мая 1882 года, тогда без всякой определен-

ной цели, а так, на всякий случай и тщательно был спрятан. От кого достали и где хранили яд, все 5 преступников отвечали незнанием“.

Обмен телеграммами между Карой и Петербургом закончился обширной телеграммой барона Корфа от 28 ноября 1889 г.

Губернатор телеграфирует из Кары: дознание произведено прокурором совместно с жандармским полковником Плотто: губернатором проверенное, выяснило: никаких истязаний государственным преступницам не было, на трупе Сигиды почти нет следов розог. Отравление морфином, который давно сохранялся на всякий случий. Порядок пока вновь не нарушался. Губернатор признает необходимым безотлагательно полковника Масюкова,—к этой обязанности непригодного,—заменить другим лицом, или передать государственных преступников в общее тюремное ведомство, с чем я согласен, но полагая, сверх того, необходимо возможно скорее перевести их Акатуй, где употреблять рудничные работы наравне с другими каторжными. Телесного наказания не отменять, поместить в общей с другими каторжной тюрьме. Но не попробовать ли поместить их в отдельных камерах по поведению и с угрозой, при малейшем беспорядке, смещать общеуголовную. Таким образом будем иметь в запасе два наказания, розги и смещение, которых они более всего боятся.

Дурново-министр ответил барону Корфу следующей телеграммой: „Штат Акатуйской тюрьмы будет утвержден в самом непродолжительном времени с передачею тюрьмы в общее тюремное ведомство, причем крайне неудобно отступать от обыкновенного порядка содержания ссыльно-каторжных. Поэтому, и дабы сразу установить должный порядок, я полагаю необходимо строго держаться начал, изложенных в приложении к письму предместника моего к вашему превосходительству от 7 марта с. г. за № 894. Замена полковника Масюкова другим лицом, в виду предстоящего введения новых штатов, представляется затруднительной“.

III.

В дело расследования событий на Каре вмешалось лицо иного ведомства: Забайкальский областной прокурор Лазаревский. Он счел необходимым о результатах, выясненных дознанием, представить рапорт своему высшему начальству—

министру юстиции. Этот рапорт является свидетельством незаинтересованного чиновника и потому поражает своим сравнительным беспристрастием. Никакого движения этот рапорт, конечно, не получил; но он был в высшей степени неприятен и Корфу, и департаменту полиции. Для истории карийской трагедии он является весьма ценным историческим источником и заслуживает быть приведенным полностью:

„До 11 числа текущего ноября месяца о всем происходящем на Каре среди государственных преступников я ничего не знал. В этот день в г. Читу прибыл начальник Иркутского жандармского управления полковник фон-Плотто и, предъявив мне требование генерала Онуприенко о производстве отдельного следственного действия по делу Вольпе, просил меня или ехать с ним на Кару самому или командировать одного из моих товарищей. Вследствие этого, в тот же день, я уведомил полковника фон-Плотто, что мне приходится лично присутствовать при производстве дознания. Вечером полковник вновь заехал ко мне и передал желание г. начальника области немедленно видеть меня. Прибыв с полковником к губернатору, я от последнего впервые услышал, что государственная преступница Сигида нанесла оскорбление действием коменданту государственной каторжной тюрьмы подполковнику Масюкову, что ее за это высекли, — по телеграмме г. Приамурского генерал-губернатора, — что она отравилась и умерла и что в то же время заболели три другие преступницы, разделявшие заключение вместе с Сигида. Передав изложенное, губернатор присовокупил, что, после посылки телеграммы Карийскому начальству о наказании розгами Сигида, он получил свидетельство о болезни ее и, не успев сделать по этому поводу никаких распоряжений, вслед затем получил телеграмму о том, что наказание над Сигида приведено в исполнение. Продолжая, губернатор выразил ту мысль, что может условия заключения Сигида и заболевших арестанток перед смертью первой из них, а может быть и способ приведения над Сигида в исполнение наказания, были настолько тяжелы и жестоки, что именно они вызвали смерть Сигида и болезнь — Ковалевской, Калюжной и Смирницкой, почему он губернатор, пользуясь моею поездкою с полковником фон-Плотто, просит нас обоих осмотреть труп Сигида, уже подвергшейся вскрытию, посетить трех заболевших арестанток и осмотреть помещение, где они содержатся, о результатах же всего нами найденного его уведомить. Для того, чтобы мы не

встретили при этом препятствий, губернатор снабдил нас бумагою, в копии при этом прилагаемою.

„13 ноября мы выехали на Кару, куда прибыли вечером 16, и я, донеся в тот же день по телеграфу вашему высокопревосходительству о том, что мы узнали здесь, по прибытии, сегодня, вместе с полковником фон-Плотто, посетил обе тюрьмы государственных преступников и наружно осмотрел тела покойных: Ковалевской, Смирницкой, Калюжных,—брата и сестры, и Бобохова. Узнав при этом, что на Кару едет для вскрытия трупов отравившихся преступников врачебный инспектор, я осмотр тела Сигида отложил до приезда его, о результатах какового осмотра буду иметь честь донести вашему высокопревосходительству отдельно, теперь же я излагаю ход этих событий на благоусмотрение вашего высскопревосходительства.

„В феврале месяце 1888 года полковник фон-Плотто посетил на Каре государственных преступников, причем одна из них, Ковальская, предъявила ему ходатайство о переводе ее в какое-либо другое помещение, мотивируя просьбу эту тем, что в тюрьме государственных преступниц, по всей вероятности, существуют данные для заболевания чахоткой, так как и ее предшественница по помещению Татьяна Лебедева умерла от этой болезни в июне 1887 года, и она, Ковальская, чувствует уже подозрительные грудные боли, причем не желает быть причиною распространения чахотки между другими арестантками. Полковник ответил, что не в его средствах исполнить эту просьбу, тем более, что на Каре целые семьи с детьми всех возрастов, за отсутствием надлежащих помещений, живут в землянках, где от сырости и холода царствуют постоянные заболевания, но затем обстоятельства, переданные ему Ковальской, сообщил своему начальству, военному губернатору, а также, для надлежащих распоряжений, коменданту Масюкову, который уведомил его впоследствии, что Ковальская здорова. При окончании свидания, Ковальская заявила полковнику фон-Плотто, что если ее не переведут и не спасут от смерти добровольно, то для того, чтобы добиться этого, она совершит какой-либо проступок.

„5 августа 1888 года Кару посетил Приамурский генерал-губернатор, барон А. Н. Корф, и когда вошел в женскую государственную тюрьму, то застал часть преступниц сидящими на дворе в устроенном ими искусственно садике из деревьев, срубленных в лесу и воткнутых в землю. Одна из сидящих, именно Ковальская, не встала при приближении генерал-губернатора и на требование последнего вести себя

как следует, ответила, что она не встанет, ибо не уважает представителей русского правительства, а когда генерал-губернатор заметил, что он заставит уважать начальника края, Ковальская заметила, что этого сделать нельзя.

„8 августа барон Корф приказал взять Ковальскую и увезти в г. Верхнеудинск, под именем арестантки № 3, для заключения в местном тюремном замке, не объявляя ей о том, куда и зачем везут ее, а 11 августа приказание это было исполнено при следующей обстановке: с вечера жандармский унтер-офицер, по приказанию начальства, незаметно для арестанток государственной тюрьмы запер их камеры (каждая занимала отдельную), оставив незапертою ту, в которой содержалась Ковальская. Ночью в тюрьму вошли: смотритель обще-уголовной каторжной тюрьмы Бобровский, унтер-офицер корпуса жандармов Кравченко и Голубцов (первый находится в Иркутске, а второй вышел недавно в отставку) и несколько человек казаков местной сотни и общих сс.-каторжных (комендант Масюков не присутствовал), и, по приказанию Бобровского, последние вошли в камеру Ковальской. Одна из арестанток пробудилась от произведенного входящими людьми шума, бросилась к дверям, нашла их запертыми и закричала, разбудив прочих арестанток, которые, увидя себя запертыми, тоже подняли крик. В то же время испуганная Ковальская выскочила с криком из камеры в одном белье и наброшенном одеяле, на нее бросились сс.-каторжные, вынесли ее без чувств, положили на телегу, отвезли на берег реки Шилки, где какая-то женщина одела ее в арестантское платье, а Бобровский отправил ее под конвоем в г. Верхнеудинск. От себя должен присовокупить при этом, что если бы комендант Масюков объяснил тогда же генерал-губернатору ранее заявленное требование Ковальской о переводе, то, по всей вероятности, такого недоразумения не произошло бы, а затем, если бы тот же г. Масюков сам объявил Ковальской о распоряжении генерал-губернатора, то последняя совершенно добровольно без всяких насильственных мер отправилась бы в г. Верхнеудинск, о чем она впоследствии и заявила полковнику фон-Плотто.

„Немедленно после увоза Ковальской прочим арестантам из государственных преступников стало откуда-то известным, что когда сс.-каторжные бросали Ковальскую в телегу, то она сильно ударилась головою о край ее и что будто бы смотритель Бобровский всю дорогу дразнил ее и по поводу наготы Ковальской делал замечания, что „она еще женщина хоть куда“. Эти слухи повели к тому, что 14 августа пре-

ступницы Смирницкая, Калюжная, Ковалевская, Корба, Лешерн, Ивановская, Якимова и Ананьина перестали принимать пищу, каковая голодовка продолжалась до 22 августа, несмотря на то, что пища целые дни стояла перед этими арестантками и жандармские унтер-офицеры подтвердили, что голодавшие пищи со стороны получать не могли. В то же время на столбах в Средней Каре были расклеены афиши, в которых объявлялось, что государственные преступники, в виду недостойного поведения исполнителей при взятии Ковальской, решили голодать и своей смертью выразить протест против такого с ними обращения и неправильных действий коменданта Масюкова, который свои обязанности передал по неизвестной причине обще-каторжной администрации и допустил сс.-каторжных распоряжаться личностью Ковальской.

„С того времени и по осень 1889 года происходили постоянные неудовольствия между комендантом Масюковым и женщинами преступницами, причем последние несколько раз ходатайствовали об отозвании его, отказались получать через его руки посылки, деньги и письма и заявили, что совершат что-либо противозаконное, чтобы тем заставить начальство избавить их от личных сношений с г. Масюковым.

„31 августа 1889 года преступница Сигида подала коменданту Масюкову, около полугода перед этим прекратившему посещения тюрьмы, письменное заявление о желании видеть его, прося для этого приехать или в каторжную тюрьму на Усть-Каре в 15 верстах от квартиры коменданта на Нижней Каре, или вызвать ее в Нижнюю Кару. Комендант Масюков послал унтер-офицера Голубцова привезти Сигида, приказав ему перед этим обыскать ее, которая при обыске заплакала и заявила, что она не для этого просила вызвать ее. Привезенная в Среднюю Кару и введенная в квартиру коменданта Масюкова, где находились смотритель государственной тюрьмы Пахаруков и жандармы Голубцов и Помялов (первый вышел в отставку, второй находится еще на службе), Сигида, в присутствии этих лиц, на вопрос коменданта, что ей нужно, начала горячиться, „находить“ на коменданта и, восклицая, что преступницы давно просят об удалении его, Масюкова, бросилась на последнего и, не будучи никем удержана, ударила его рукою, причем комендант от удара успел уклониться, так что рука Сигида только скользнула по голове его, плюнула, „загоготала“, по выражению унтерофицера и впала в истерику, схваченная за руки жандармами. Восстановить в точности эту картину трудно, так как,

понятно, при быстроте хода событий слова и движения действующих лиц каждому представляются теперь в неодинаковой форме тем более, что существуют уже варианты по поводу, напр., того, что смотритель Пахаруков зачем-то прыгал в окно квартиры коменданта. После этого события Сигида была подвергнута одиночному заключению.

„26 октября комендант Масюков получил от военного-губернатора предписание следующего содержания: „Г. Приамурский генерал-губернатор телеграммами от 30 сентября и 8 октября сего года, поясняя, что неоднократно повторяющиеся беспорядки среди государственных преступников мужчин и женщин вынуждают прибегнуть к мерам строгости, изволил предписать за каждое действие скопом переводить всех на продолжительное время на обыкновенное арестантское продовольствие и лишать всего, что разрешено иметь за собственные деньги, не исключая книг и письменных принадлежностей и т. п.; в случае сопротивления при аресте кого-либо из них или по другому какому случаю употреблять вооруженную силу, не опасаясь за последствия, отдельно провинившихся и зачинщиков подвергать без малейшего послабления телесному и другим наказаниям наравне с уголовными преступниками". Предписание это было прочитано в обеих государственных тюрьмах.

„Когда государственным преступницам сделалось известным распоряжение генерал-губернатора высечь Сигида,— опять началась голодовка. В начале ноября месяца доктор Гурвич получил предписание присутствовать при наказании Сигида, но, осмотрев ее и найдя сердце ее не в порядке, а также зная, что она страдает истериею и последние дни не спала от сильной зубной боли, отказался от этого и сообщил заведующему Нерчинскими ссыльно-каторжными. Последний через несколько дней прислал из г. Нерчинско-Заводска помощника своего Бобровского, увозившего ранее Ковальскую, которому приказал исполнить наказание. Сам заведующий говорит, что он послал Бобровского только разузнать на месте в чем дело. Бобровский, не произведя официального освидетельствования здоровья Сигиды, высек ее без присутствия при этом врача.

„По рассказам очевидцев, Сигида перед тем, как повели ее наказывать, заявила, что это для нее равняется смерти, под розги легла добровольно, затем с нею сделалось дурно, почему ей предложили воды, и, когда она отказалась, воду ей лили в рот насильно, после же наказания, когда она не могла идти, приказано было подгонять ее прикладами.

„Приведенная после наказания в тюрьму обще-каторжную Сигида, вместе с тремя другими государственными преступницами, выведенными вместе с нею ранее из государственной тюрьмы, от прочих ссыльно-каторжных женщин отделились какою-то занавескою, где на них никто до 10-го ноября не обратил внимания. В этот день умерла Сигида. 11 ноября Ковалевская и 12—Калюжная и Смирницкая. При вскрытии трупа Сигида обнаружены признаки отравления и сердце ее оказалось ненормальным, на теле же имелись знаки не особенно тяжелого наказания розгами, других же знаков насилия найдено не было. Внутренности желудка Сигида отправлены для производства химико-микрокоскопического анализа. По мнению врача Гурвич, все преступницы отравились мышьяком.

„16 ноября умерли в мужской государственной тюрьме брат Калюжной и Бобохов и обнаружилось, что вместе с ними отравились морфием Кон, Иванов, Санковский, Сергей Диковский и Левченко, которым подана медицинская помощь и которые, хотя и слабы, но вероятно останутся живы. Кроме того, стрелялся один из государственных преступников вольной команды.

„При посещении сего числа женской и мужской государственных тюрем, в первой преступницы заявили, что при такой обстановке (согласно распоряжению генерал-губернатора, теперь посещения происходят так, что посетитель со всех сторон окружен вооруженным конвоем) они никаких просьб и заявлений приносить не желают, во второй же— преступники Мартыновский, Мирский и Кон, заявляя, что они не знают, чем вызвано объявленное им распоряжение генерал-губернатора, так как за последние шесть-семь лет мужская тюрьма вела себя вполне образцово и ни с чьей стороны никаких жалоб не вызывала. Действительно, из перехваченной переписки государственных преступников с преступницами видно, что первые настойчиво уговаривали последних бросить мысль о каком бы то ни было сопротивлении и даже упрекали за то недостойное отношение к власти, которое преступницы проявляли, например, по пути на Кару, просили повергнуть на благоусмотрение вашего высокопревосходительства два следующее вопроса: во-первых, что для них телесное наказание есть квалифицированная смертная казнь, — что доказали их товарищи Калюжный и Бобохов — удачно, они же остальные на первый раз неуспешно, почему в их прямых расчетах будет, при необходимости в том, совершать не проступки, влекущие

исправительные наказания, а преступления, за которые они будут подлежать смертной казни, и во-вторых, что фраза в предписании военного губернатора, им прочтенном, „в случае сопротивления при аресте кого-либо из них или по другому какому случаю употреблять вооруженную силу, не опасаясь за последствия“, может повести к тому, что при таких начальниках, каким был, напр., комендант Манаев (сослан в Якутскую область), часто являвшийся к ним в нетрезвом виде, их могут безвинно всех переколоть штыками или исколотить прикладами, „не опасаясь за последствия“.

„Мирский при этом добавил, что вооруженная военная сила употребляется в дело только в известных, законом установленных случаях, а потому будет ли законно вооруженное на них нападение, если таковое не будет вызвано с их стороны такими деяниями, о которых именно говорит закон. Все арестанты при этом или мрачно молчали, или каждую фразу произносили заикающимся голосом, будучи близки к припадкам нервного исступления.

„Осмотренные нами пять трупов отравившихся преступников и преступниц, за исключением трупа Сигида, ничего особого не представляют, кроме общего крайнего физического истощения.

„Вообще наружный вид государственных преступников и преступниц, за немногими исключениями, крайне неудовлетворителен: все это люди, как говорится „дышащие на ладон“, худые, с землистым цветом лица и в высшей степени нервно возбужденные, что проявляется как в их взглядах, так и в порывистых телодвижениях. Некоторые положительно страдают теми или другими формами психического заболевания и, во избежение последующих нежелательных событий среди этого мира, безусловно необходим постоянный надзор за ними со стороны опытного врача-психиатра.

„Оканчивая на этом мое донесение вашему высокопревосходительству, имею честь присовокупить, что когда полковник фон-Плотто посетил в Верхнеудинской тюрьме арестантку Ковальскую и заметил ей все неприличие ее поведения в присутствии генерал-губернатора, то Ковальская ответила, что она только исполнила то, что обещала полковнику в феврале 1888 года и что теперь чувствует себя совершенно здоровою“.

Прочел этот рапорт в копии Дурново-директор и меланхолично пометил: „в записку (т.-е. всеподданнейший доклад) помещать не нужно. Об этом случае надлежит завести особую переписку“. В переводе с канцелярского языка это

значит: надо собрать все бумаги об этом случае и заключить их в отдельную обложку с особым заголовком: „дело о том-то“—так и было сделано.

IV.

В рапорте прокурора упоминается об афишах, расклеенных в Средней Каре, или прокламациях, выпущенных ссыльными. Приводим полностью текст этого замечательного человеческого документа, написанного Калюжной:

„Кара, август 1888 года.

„Гнусное издевательство над государственной преступницей, совершенное 11-го августа 1888 года в „генеральской“ квартире и на берегу Шилки, знает вся Кара. Это издевательство тем более омерзительно и возмутительно, что в данном случае не было никакой причины. Если бы Ковальской сказали, что пришли за нею, она и сама пошла бы. Но эта шайка вломилась в тюрьму в 5 часов утра и, не говоря ни слова, расправилась с сонными женщинами: заперла все камеры, а Ковальскую схватила раздетой и унесла. Это еще не видано ни в одной тюрьме. Мы, три оставшиеся в этой тюрьме женщины: Мария Калюжная, Мария Ковалевская и Надежда Смирницкая, не имеем возможности отомстить иным путем за это насилие и за гнусное поругание над нашей товаркой. Единственное средство у нас остается—отомстить своей смертью. Мы решили заморить себя голодом. . . . .

„Пусть начальство знает, что подобные его поступки не оканчиваются только его неистовством, а ведут за собой смерть нашу. Пусть эти люди знают, что заклеймили себя не только бесстыжими наглецами, но и именем убийц. Мы уверены, что редкий каторжник позволил бы себе подобную гнусность. А это люди с образованием: Масюков, бывший предводитель дворянства, позволил и сам участвовал в гнусных издевательствах ничтожных сотенного Архипова и смотрителя Бобровского. Пусть и наша смерть ляжет вечным проклятием над этими лицами. Пусть всякий человек, у которого есть стыд и совесть в сердце, бросит свое презрение этим лицам. До последнего вздоха мы будем слать проклятия всем, кто участвовал в этом злодеянии, и наше проклятие будет преследовать их всюду. Если эти лица были орудием в руках высшего начальства, то пусть не надеются,

что они спасутся от мести и получат только награды и повышения. За нас отомстят рано или поздно как великим, так и малым. Пусть вспомнят губернатора Читы Ильяшевича и иркутского Соловьева. Поругание над Ковальской не простится никому. Пусть теперь и над нами тремя начальство совершает свои жестокости, мы ожидаем этого, но нас ничто не страшит: кто идет на смерть, над тем бессильны людские пытки. Мы ответим молчаливым презрением на все, что бы начальство ни предприняло с нами, а своей смертью наложим печать проклятия и клеймо позора на медных лбах этой шайки. Проклятие же вам, три изверга: Масюков, Архипов и Бобровский, позорящие собой имя человека".

К этой прокламации следует присоединить и следующее официальное заявление:

„Господину начальнику Иркутского жандармского управления государственных преступниц Марии Ковалевской, Надежды Смирницкой и Марии Калюжной заявление: 6-го августа комендантом нашей тюрьмы было исполнено приказание генерал-губернатора Корфа о выделении Елизаветы Ковальской. Выделение это произошло при следующих обстоятельствах: в 5-м часу утра, в коридор женской тюрьмы вошли жандармы и хотели запереть по камерам находящихся в них женщин. Шум замков был услышан и запереть дверей камер не удалось, так как женщины проснулись и вышли в коридор узнать, что случилось. На вопрос, предложенный им: „что вам нужно", жандармы не отвечают ни слова и, видя, что запереть нельзя, выходят и призывают в коридор смотрителя уголовной тюрьмы Бобровского в сопровождении четырех уголовных арестантов и сельского старосты. При появлении их опять был задан вопрос: „что им нужно". Вопрос был повторен несколько раз, но ответа на него не дали. Уголовные арестанты и сельский староста втолкнули женщин в камеры, которые тотчас же заперли. Во время этого шума Елизавета Ковальская проснулась и, набросив на себя одеяло, вышла в коридор и стояла, совершенно не подозревая, что пришли за ней. В тот момент, когда камеры были заперты, уголовные схватили Ковальскую, как была, совсем раздетую, только в одном одеяле, и понесли за ворота тюрьмы. Ей ничего при этом не сказали, не спросили даже, пойдет ли она добровольно, хотя законом повелевается употреблять силу только после отказа добровольно идти. Перед отправкой Ковальскую внесли в избу, где с нее сняли свое белье и одели в казенную одежду. При одевании ее, как подтверждает сам Масюков, при-

сутствовали двое уголовных мужчин, помогая надзирательнице, так как Ковальская была в обмороке; тогда как, по закону, женщину полагается одевать женщинам. После указанного здесь нарушения комендантом Масюковым, своих чисто юридических обязанностей, и того оскорбления, которое он нанес нам, как женщинам, позволив жандармам, смотрителю (не нашей тюрьмы) и уголовным ворваться к сонным и раздетым женщинам, мы три, оставшиеся в тюрьме, не находим возможным далее иметь какие бы то ни было дела с Масюковым, как с представителем власти. Мы не можем к нему обращаться по нашим делам, и он не может являться в нашу тюрьму. Желая испробовать легальный путь, мы обращаемся к вам, как к непосредственному контролеру Масюкова, с заявлением о необходимости удалить его от занимаемого им места. Если вы не можете этого сделать на основании только нашего заявления, то мы желали бы, чтобы вы прибыли сюда лично или прислали доверенное лицо для расследования дела. Мы желали бы получить какой-либо ответ, хотя бы для того, чтобы знать, что наше заявление отправлено по адресу. Калюжная, Смирницкая, Ковалевская Августа 28 дня“ [1]).

---

[1]) И прокламация, и заявление приведены в „Дневнике карийца“ Я. Стефановича, Спб. 1906, стр. 3—4 и 31—32. В этом дневнике изложена карийская трагедия с некоторыми любопытными фактическими подробностями, но изложение испорчено неприятным тоном автора дневника, надменно-поучительным, и ложным освещением, ярко характеризующим самолюбивую раздражительность автора. К разсказу Стефановича тесно примыкают и воспоминания Л. Г. Дейча в его книге „16 лет в Сибири“.

Ред.

СОДЕРЖАНИЕ.

